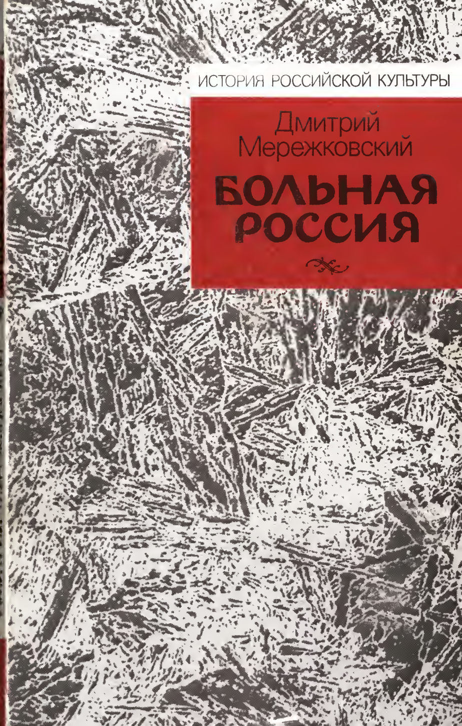

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Дмитрий Мережковский
БОЛЬНАЯ РОССИЯ

ИСТОРИЯ
РОССИЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Дмитрий Мережковский

«БОЛЬНАЯ РОССИЯ»

ИЗБРАННОЕ



ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1991

ББК 87.3
М52

Автор предисловия и послесловия,
составитель д-р филос. наук *С. Н. Савельев*

Мережковский Д.

М52 «Больная Россия».— Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991.—272 с. (История российской культуры)

ISBN 5-288-00964-3

В сборник включены иаиболее значительные статьи из двух книг Д. С. Мережковского «Грядущий хам» (1906 г.) и «Больиая Россия» (1910 г.), а также извлечения из диевников З. Н. Гиппиус за 1914—1919 гг., которые сама оиа считала утрачеными. Обоим авторам судьба России рисовалась в трагических красках, и во многом их предчувствиям суждеио было сбыться.

М $\frac{0202000000-099}{076(02)-91}$ КБ—34—1—90 ББК 87.3

ISBN 5-288-00964-3

ПРЕДИСЛОВИЕ

В культуру не вовлечешь того, чего нет в жизни. А искусство истинно даже тогда, когда оно лицедействует и лжет. Такое искусство «ложных образов» — по крайней мере относительно героев и вождей — дает нам литература XX столетия. Герои бывают только литературные, потому они и называются литературными. Однако литература и литературная критика настаивали на обратном, и обыкновенный (нормальный) человек оказался на «заднем (заводском) дворе». А на передний край, в парадные комнаты выдвинулся... этот самый «герой».

В начале XX в. наблюдалось резкое ухудшение человеческого качества, а это привело к нарастанию хамства в общественной и личной жизни.

Хамство — это не озорство, а «острая политическая опасность». Хамство — одно из самых распространенных психологических насилий над личностью, против которого общество так и не создало защитных средств. Нравственные уголовники чувствуют себя в полной безнаказанности — на них, как правило, нет управы. И для того чтобы уберечься от этой чумы XX в., необходимо на новые факты и явления жизни смотреть пристальным и вооруженным взглядом. Вот основные мысли, которые возникают после прочтения сборника статей Д. С. Мережковского «Грядущий хам», изданного в Санкт-Петербурге в 1906 г.

*   *
*

Немногим известно, но история зафиксировала точную дату — 9 января 1905 г. и точное место — Петербург, Соляной городок, где состоялось экстренное собрание «Вольного экономического общества», которое делегировало Мережковского «закрывать в знак протеста Мариинский театр» [1]. А. Белый, вспоминая те дни, писал: «... аресты, аресты; кого-то из левых писателей били... Мережковскому передавали из „сфер“, что его арестуют; он каждую ночь, ожидая полицию, передавал документы и деньги...» [2]. Были и другие поступки, дела, факты участия... Однако не об этом речь. Представлять Д. С. Мережковского и его жену, поэтессу З. Н. Гиппиус, революционерами или утверждать обратное, называя их контрреволюционерами, ни к чему, но в том, что они достойно послужили России и ее культуре и вправе рассчитывать на память, нет сомнения.

Революция сама по себе, считал Д. Мережковский, не может быть названа доброй или злой силой, хотя и может послужить добру. Революция есть честно сформулированная ложь, добросовестно обнаруженная гниль, подведение итога прежнему разложению. Накопление творческих и нравственных идей, накопление творческой и нравственной энергии само по себе никогда не ведет к революции, а ведет к развитию; к революции же ведет накопление зла, лжи, безнравственности, социальной несправедливости. Вот почему революция так рабски зависит от реакции и может быть так реакционна по своей психологии, если она лишь реакция на обнаружение прежней лжи, несправедливости и т. д. Лжет и насильничает власть, но притворяется, трусит, холопствует и народ. Социальные требования революции справедливы, но это не спасет ее от возможной лжи, если не будет дан отпор ее ближайшим результатам — самомнению и самодовольству, явлениям мещанским

---

[1] Белый А. Начало века. М.; Л., 1933. С. 420.
[2] Там же. С. 421.

по сути до самых своих корней и последствий. Люди, которые не поклоняются «*над*человеческому», не идут «молиться в общий храм», утверждают лишь себя, могут соединиться лишь в безобразном быте, неблагородном и буржуазном по своему духу. Только осознание своего древнего и вечного происхождения делает людей людьми, кладет на их лица и быт человеческую печать справедливости и благородства.

Глядя на молодых стариков, интеллигентных постников, молокан-народников и федосеевцев-марксистов, Мережковский восклицает: «Милые русские юноши! Вы благородны, честны, искренни. Вы — надежда наша, вы — спасение и будущность России. Отчего же лица ваши так печальны, взоры потуплены долу? Развеселитесь, усмехнитесь, поднимите ваши головы, посмотрите черту прямо в глаза. Не бойтесь глупого старого черта политической реакции, который все еще мерещится вам то в языческой эстетике, то в христианской мистике. Не бойтесь никаких соблазнов, никаких искушений, никакой свободы, не только внешней, общественной, но и внутренней, личной, потому что без второй невозможна и первая. Одного бойтесь — рабства и худшего из всех рабств — мещанства и худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт — уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют,— грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам» [3].

Столь подробная цитата понадобилась для того, чтобы, «предоставив слово» самому Д. С. Мережковскому, отказать в праве на существование различным импровизациям, запутывающим дело с «грядущим хамом». Конечно, всеобщая связь явлений подробно не доказывается самим Мережковским, но она является для него результатом «непосредственного созерцания» и художественно-творческого проникновения. Приложим ли такой метод к идеологической сфере? Да, конечно. Ведь при этом не умертвляется

---

[3] Мережковский Д. С. Грядущий хам. С. 42—43 настоящего издания.

живая душа эпохи. Ведь в ней, как и во всяком целом, специфически эмоциональное органически сливается с бесконечным рядом других мотивов.

Итак, надо бояться. Впереди — темнота и страшные перспективы. А спасение только одно — в Боге. А к Богу нельзя прийти без Христа и нового религиозного сознания.

В свое время Библия нам поведала о том, что

> Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были: Сим, Хам и Иафет...
> Ной начал возделывать землю, и насадил виноградник.
> И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем.
>
> (Бытие. IX глава)

Хам, увидя отца своего обнаженным, посмеялся над ним. Когда Ной проснулся и узнал, что сделал Хам, то лишил его родительского благословения и предсказал, что его потомки будут рабами.

За последние две тысячи лет своего существования человек не изменился ни морфологически, ни психофизиологически. В организме человека не появилось ни одного нового, важного и общего для всех людей признака, который позволил бы разделить человеческий род на предков и потомков. Не изменилось и сознание, менялись только его формы. Все, чем люди XX столетия отличаются от допотопного человека,— это отношение к культуре, ее наследию. Когда отбрасываются традиционные культурные нормы и взламываются установившиеся социальные связи, когда почему-либо образуется дефицит нравственности, из этого вакуума в жизнь выскакивает неандерталец. Тонкий слой культуры, прикрывающий омут варварства, мгновенно растворяется в выбросах фонтана углекислоты. Прорывы зоологического синдрома в социальную жизнь всегда носят катастрофический характер, а изощренное культивирование «классового чутья», «классового нюха» со-

здает эффект «классовой сучности», сформулированный (уже в 30-е годы) А. Кёстлером в его романе «Слепящая тьма».

«Не так страшен черт, как его малютки». Человек среди собак становится сам аки пес. А это уже катастрофа.

* *
*

«Разум существовал всегда, только не всегда в разумной форме»,— написал К. Маркс в 1843 г.[4] Истинная же «глупость заключается не столько в отсутствии ума, сколько в его несоответствии с прочими свойствами души, главным образом с волею. Слишком большая воля при малом уме приводит к глупости»[5]. Эти слова можно было прочитать в первом номере «Русской мысли» за 1908 г. в статье Д. Мережковского «В обезьяньих лапах». И, всплеснув руками, российское общественное мнение ахнуло: «Как это? О чем это он?»

Вернувшись 11 июня 1908 г. после трехлетней эмиграции в Петербург, Д. Мережковский и З. Гиппиус с ужасом обнаружили полнейший хаос в интеллектуальной, духовной и религиозной жизни. Общая атмосфера, отягченная стремлением агрессивных групп молодежи разрушить все традиционные духовные и нравственные ценности, произвела на них самое отталкивающее впечатление. В России подрастало, по словам Н. Бердяева, «хулиганское поколение». Вакуум в интеллектуальной и духовной жизни Петербурга, Москвы, Киева стремительно заполнялся модернистскими (популистскими) идеями, восточной мистикой, пессимизмом и антиобщественными настроениями.

Ответом на происходящее послужило опубликование сборника публицистических статей под общим

---

[4] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 380.

[5] Мережковский Д. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М., 1914. Т. XVI. С. 11.

названием «Больная Россия», который поступил в продажу в книжные магазины Петербурга в начале января 1910 г.

«Что-то есть в русской жизни,— воскликнул Д. Мережковский,—чего уже нет или еще нет в русской литературе, в слове. Жизнь ушла в бессловесную глубь. Теперь то, что пишется, значительнее того, что печатается; то, что говорится,— того, что пишется, и, наконец, то, что умалчивается,— того, что говорится. Теперь,— что у кого болит, тот о том не говорит: сказать — язык не поворачивается, написать — рука не подымается, где уж тут печатать» [6]. Мы должны понять раз и навсегда, обратился он к думающей России, что «не Россия для революции, а революция для России».

Мережковский остро осознал, что никогда и нигде, как в России, не была опрокинута, «вывернута наизнанку» христианская истина о жизни. Все, что можно было сделать, сделано, чтобы доказать, что религия есть реакция, а революция есть антирелигия. И в этом, считал он, вина всеобщая: «Уж слишком долго принадлежала русскому правительству монополия христианства, „воды жизни", вместе с водкою; слишком долго религия была кощунством — немудрено, что теперь, обратно, кощунство стало религией» [7]. Неужели не видно, что новая революционная казенщина такими же гнилыми нитками шьется, как и старая, церковно-государственная? Неужели не понимают, «что религия может быть, но может и не быть реакцией» [8].

Да, не понимали. И это составляло главную трагедию не только Мережковского, но и времени, и страны.

Оба сборника — «Грядущий хам» и «Больная Россия» — не только источники сведений по вопросам религиозной, нравственной и политической жизни России первого десятилетия XX в. Они интересны и как выражение взглядов писателя и религиозного

---

[6] Там же. С. 13.
[7] Там же. С. 39.
[8] Там же. С. 107—108.

философа на время и тенденции общественного развития, взглядов, «погруженных» в жизнь и дух того времени. Не стоит упрекать Мережковского за то, что его взгляды и настроения выходили за пределы тех временны́х переживаний, которые были свойственны людям не их круга. Он заметил в общественной жизни много из того, что находилось за пределами сознания других. В этом его заслуга.

* *
*

О том, насколько верны или не верны были предчувствия и предсказания Мережковского и его сомышленников, читатель уяснит для себя, ознакомившись с извлечениями из дневника З. Н. Гиппиус-Мережковской под названием «Современная запись» (1914—1919 гг.), который Зинаида Николаевна считала утраченным безвозвратно. Ее суждения в иных случаях резки или категоричны, но они типичны для русской творческой интеллигенции тех лет. Можно сердиться на нее за это, но страсть этих суждений была направлена в конце концов на одно: помочь своему народу, своей России и ее свободе. В страшное для России время, в феврале 1918 г., накануне второй эмиграции она пишет свое последнее Нет:

НЕТ

Она не погибнет,— знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся,— верьте!
Поля ее золотые.
И мы не погибнем,— верьте!
Но что нам наше спасенье!
Россия спасется,— знайте!
И близко ее воскресенье [9].

Культурный и нравственный кругозор Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус и тех людей, с которыми они «воевали», как будто отличается от культурного кругозора современного человека: иная эпоха, среда

[9] Гиппиус З. Н. Последние стихи. 1914—1918. Пг., 1918. С. 66.

обитания. Но это — на первый взгляд. На самом же деле «на языке» у нашего времени — те же слова, в «воздухе» — те же идеи, в голове — те же мысли и ожидания. И читатель сам обнаружит, «что человечество не начинает *новой* работы, а сознательно осуществляет свою старую работу» [10].

[10] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 381.

Посвящается
Дмитрию Владимировичу
Философову

Д. С. Мережковский

ГРЯДУЩИЙ ХАМ *

Избранные статьи

* Печатается по: Мережковский Д. С. Грядущий хам. СПб., 1906.

ГРЯДУЩІЙ ХАМЪ

Д. МЕРЕЖКОВСКАГО

ГРЯДУЩИЙ ХАМ

I

„Мещанство победит и должно победить,— пишет Герцен в 1864 г. в статье „Концы и начала".— Да, любезный друг, пора прийти к спокойному и смиренному сознанию, что *мещанство — окончательная форма западной цивилизации*".

Трудно заподозрить Герцена в нелюбви к Европе. Ведь это именно один из тех русских людей, у которых, по выражению Достоевского, „две родины: наша Русь и Европа". Может быть, он сам не знал, кого любит больше, Россию или Европу. Подобно другу своему Бакунину, он был убежден, что последнее освобождение есть дело не какого-либо одного народа, а всех народов вместе, всего человечества, и что народ может освободиться окончательно, только отрекаясь от своей национальной обособленности и входя в круг всечеловеческой жизни. „Всечеловечество", которое у Пушкина было эстетическим созерцанием, у Герцена, первого из русских людей, становится жизненным действием, подвигом. Он пожертвовал не отвлеченно, а реально своей любви к Европе своей любовью к России. Для Европы сделался вечным изгнанником, жил для нее и готов был умереть за нее. В минуты уныния и разочарования жалел, что не взял ружья, которое предлагал ему один работник во время революции 1848 года в Париже, и не умер на баррикадах.

Ежели такой человек усомнился в Европе, то не потому, что мало, а потому, что слишком верил в нее. И когда он произносит свой приговор: „я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего“, когда утверждает, что в дверях старого мира — „не Катилина, а смерть“, и на лбу его цицероновское: „vixerunt“ *,— то можно не принимать этого приговора,— я лично его не принимаю,— но нельзя не признать, что в устах Герцена он имеет страшный вес.

В подтверждение своих мыслей о неминуемой победе мещанства в Европе Герцен ссылается на одного из благороднейших представителей европейской культуры, на одного из ее „рыцарей без страха и упрека“, на Дж. Ст. Милля.

„Мещанство,— говорит Герцен,— это та самодержавная толпа *сплоченной посредственности* (conglomerated mediocrity) Ст. Милля, которая всем владеет,— толпа без невежества, но и без образования... Милль видит, что все около него пошлеет, мельчает; с отчаянием смотрит на подавляющие массы какой-то паюсной икры, сжатой из мириад мещанской мелкоты... Он вовсе не преувеличивал, говоря о суживании ума, энергии, о стертости личностей, о постоянном мельчании жизни, о постоянном исключении из нее общечеловеческих интересов, о сведении ее на интересы торговой конторы и мещанского благосостояния. Милль прямо говорит, что по этому пути Англия сделается Китаем,— мы к этому прибавим: *и не одна Англия*“.

„Может, какой-нибудь кризис и спасет от китайского маразма. Но откуда он придет, как? — этого я не знаю, да и Милль не знает“. „Где та могучая мысль, та страстная вера, то горячее упование, которое может закалить тело, довести душу до судорожного ожесточения, которое не чувствует ни боли, ни лишений и твердым шагом идет на плаху, на костер? Посмотрите кругом,— что в состоянии поднять народы?“

„*Христианство обмелело* и успокоилось в покойной и каменистой гавани реформации; обмелела и ре-

---

* Их уже нет в живых (*лат.*).— *Здесь и далее перевод С. Н. Савельева.*

волюция в покойной и песчаной гавани либерализма... С такой снисходительной церковью, с такой ручной революцией западный мир стал отстаиваться, уравновешиваться".

„Везде, где людские муравейники и ульи достигали относительного удовлетворения и уравновешения,— движение вперед делалось тише и тише, пока, наконец, не наступала последняя тишина Китая".

По следам „азиатских народов, вышедших из истории", вся Европа „тихим, невозмущаемым шагом" идет к этой последней тишине благополучного муравейника, к „мещанской кристаллизации" — китаизации.

Герцен соглашается с Миллем: „Если в Европе не произойдет какой-нибудь неожиданный переворот, который возродит человеческую личность и даст ей силу победить мещанство, то, несмотря на свои благородные антецеденты и свое христианство, Европа сделается Китаем".

„Подумай,— заключает Герцен письмо неизвестному русскому, кажется, всему русскому народу,— подумай, и у тебя волос станет дыбом".

Ни Милль, ни Герцен не видели последней причины этого духовного мещанства. „Мы вовсе не врачи, мы — боль",— предупреждает Герцен. И действительно, во всех этих пророчествах,— не только для Милля, но отчасти и для Герцена,— пророчествах на собственную голову, нет никакого вывода, знания, а есть лишь крик неизвестной боли, неизвестного ужаса. Причины мещанства Герцен и Милль не могли видеть, как человек не может видеть лицо свое без зеркала. То, чем они страдают и чего боятся в других, находится не только в других, но и в них самих, в последних, непереступаемых и даже невидимых для них пределах их собственного религиозного, вернее, антирелигиозного, сознания.

Последний предел всей современной европейской культуры — позитивизм, или, по терминологии Герцена, „научный реализм", как метод не только частного научного, но и общего философского и даже религиозного мышления. Родившись в науке и философии, позитивизм вырос из научного и философского сознания в бессознательную религию, которая стремится упразднить и заменить собою все бывшие

религии. Позитивизм, в этом широком смысле, есть утверждение мира, открытого чувственному опыту, как единственно реального, и отрицание мира сверхчувственного; отрицание конца и начала мира в Боге и утверждение бесконечного и безначального продолжения мира в явлениях, бесконечной и безначальной, непроницаемой для человека среды явлений, *середины*, посредственности, той абсолютной, совершенно плотной, как Китайская стена, „сплоченной посредственности", conglomerated mediocrity, того абсолютного мещанства, о которых говорят Милль и Герцен, сами не разумея последней метафизической глубины того, что говорят.

В Европе позитивизм только делается,— в Китае он уже сделался религией. Духовная основа Китая, учение Лао-Дзы и Конфуция — совершенный позитивизм, религия без Бога, „религия земная, безнебесная", как выражается Герцен о европейском научном реализме. Никаких тайн, никаких углублений и порываний к „мирам иным". Все просто, все плоско. Несокрушимый здравый смысл, несокрушимая положительность. Есть то, что есть, и ничего больше нет, ничего больше не надо. Здешний мир — все, и нет иного мира, кроме здешнего. Земля — все, и нет ничего, кроме земли. Небо — не начало и конец, а безначальное и бесконечное продолжение земли. Земля и небо не *будут едино*, как утверждает христианство, а *суть едино*. Величайшая империя земли и есть Небесная империя, земное небо, Серединное царство — царство вечной середины, вечной посредственности, абсолютного мещанства — „царство не Божие, а человеческое", как определяет опять-таки Герцен общественный идеал позитивизма. Китайскому поклонению предкам, золотому веку в прошлом соответствует европейское поклонение потомкам, золотой век в будущем. Ежели не мы, то потомки наши увидят рай земной, земное небо,— утверждает религия прогресса. И в поклонении предкам, и в поклонении потомкам одинаково приносится в жертву единственное человеческое лицо, личность безличному, бесчисленному роду, народу, человечеству — „паюсной икре, сжатой из мириад мещанской мелкоты", грядущему вселенскому полипняку и муравейнику. Отрекаясь от Бога, от абсолютной Бо-

жественной Личности, человек неминуемо отрекается от своей собственной человеческой личности. Отказываясь, ради чечевичной похлебки, умеренной сытости, от своего божественного голода и божественного первородства, человек неминуемо впадает в абсолютное мещанство.

Китайцы — совершенные желтолицые позитивисты; европейцы — пока еще несовершенные белолицые китайцы. В этом смысле американцы совершеннее европейцев. Тут крайний Запад сходится с крайним Востоком.

Для Герцена и Милля то столкновение Китая с Европою, которое начинается, но, вероятно, не кончится на наших глазах, имело бы особенно вещий, грозный смысл. Китай довел до совершенства позитивное созерцание, но позитивного действия, всей прикладной технической стороны положительного знания недоставало Китаю. Япония, не только военный, но и культурный авангард Востока, взяла у европейцев эту техническую сторону цивилизации и сразу сделалась для них непобедимой. Пока Европа противопоставляла скверным китайским пушкам свои лучшие, она побеждала, и эта победа казалась торжеством культуры над варварством. Но когда сравнялись пушки, то и культуры сравнялись. Оказалось, что у Европы ничего и не было, кроме пушек, чем бы она могла показать свое культурное превосходство над варварами. Христианство? Но „христианство обмелело"; оно еще имеет некоторое, довольно, впрочем, сомнительное значение для внутренней европейской политики; но когда современному христианству, переезжая за границу Европы, приходится обменивать свои кредитные билеты на чистое золото, то за них никто ничего не дает. Да и в самой Европе бесстыднейшие стыдятся говорить о христианстве по поводу таких серьезных вещей, как война. Некогда источник великой силы — христианство сделалось теперь источником великой немощи, самоубийственной непоследовательности, противоречивости всей западноевропейской культуры. Христианство — эти старые семитические дрожжи в арийской крови — и есть именно то, что не дает ей устояться окончательно, мешает последней „кристаллизации", китаизации Европы. Кажется, по-

зитивизм белой расы навеки попорчен, „подмочен" „метафизическим и теологическим периодом". Позитивизм желтой расы вообще и японской в частности — это свеженькое яичко, только что снесенное желтою монгольскою курочкой от белого арийского петушка,— ничем не попорчен: каким он был за два, за три тысячелетия, таким и остался, таким навсегда останется. Позитивизм европейский все еще слишком умственный, то есть поверхностный, так сказать, накожный; желтые люди — позитивисты до мозга костей. И культурное наследие веков — китайская метафизика, теология — не ослабляет, а усиливает этот естественный физиологический дар.

Кто верен своей физиологии, тот и последователен, кто последователен, тот и силен, а кто силен, тот и побеждает. Япония победила Россию. Китай победит Европу, если только в ней самой не совершится великий духовный переворот, который опрокинет вверх дном последние метафизические основы ее культуры и позволит противопоставить пушкам позитивного Востока не одни пушки позитивного Запада, а кое-что более реальное, более истинное.

Вот где главная „желтая опасность" — не извне, а внутри; не в том, что Китай идет в Европу, а в том, что Европа идет в Китай. Лица у нас еще белые; но под белою кожей уже течет не прежняя густая, алая, арийская, а все более жидкая, „желтая" кровь, похожая на монгольскую сукровицу; разрез наших глаз прямой, но взор начинает косить, суживаться. И прямой белый свет европейского дня становится косым „желтым" светом китайского заходящего или японского восходящего солнца. В настоящее время японцы кажутся переодетыми обезьянами европейцев; кто знает, может быть, со временем, европейцы и даже американцы будут казаться переодетыми обезьянами японцев и китайцев, неисправимыми идеалистами, романтиками старого мира, которые только притворяются господами нового мира, позитивистами. Может быть, война желтой расы с белою — только недоразумение: свои своих не узнали. Когда же узнают, то война окончится миром, и это будет уже „мир всего мира", последняя тишина и покой небесный, Небесная империя, Серединное царство по всей земле от Востока до Запада, окончательная

„кристаллизация“, всечеловеческий улей и муравейник, сплошная, облепляющая шар земной „паюсная икра“ мещанства, и даже не мещанства, а хамства, потому что достигшее своих пределов и воцарившееся мещанство и есть хамство.

— Подумай,— можно заключить эти мысли, так же, как некогда заключил Герцен,— подумай, и у тебя волос станет дыбом.

У Герцена были две надежды на спасение Европы от Китая.

Первая, более слабая — на социальный переворот. Герцен ставил дилемму так:

„Если народ сломится,— новый Китай неминуем. Но если народ сломит,— неминуем *социальный переворот*“.

Спрашивается: чем же и во имя чего народ, сломивший социальный гнет, сломит и внутреннее духовное начало мещанской культуры? Какою новою верою, источником нового благородства? Каким вулканическим взрывом человеческой личности против безличного муравейника?

Сам Герцен утверждает:

„За большинством, теперь господствующим (то есть за большинством капиталистического мещанства), стоит *еще большее* большинство кандидатов на него (то есть пролетариата), для которых нравы, понятия, образ жизни мещанства — единственная цель стремлений; их хватит на десять перемен. Мир безземельный, мир городского пролетариата не имеет другого пути спасения и *весь пройдет мещанством*, которое в наших глазах отстало, а в глазах полевого населения и пролетариев представляет образованность и развитие“.

Но если народ „весь пройдет мещанством“, то, спрашивается, куда же он выйдет? Или из настоящего несовершенного мещанства — в будущее совершенное, из неблагополучного капиталистического муравейника — в благополучный социалистический, из черного железного века Европы — в „желтый“ золотой век и вечность Китая? У голодного пролетария и у сытого мещанина разные экономические выгоды, но метафизика и религия одинаковые — метафизика умеренного здравого смысла, религия умеренной мещанской сытости. Война четвертого со-

словия с третьим, экономически реальная, столь же нереальна метафизически и религиозно, как война желтой расы с белою; и там и здесь сила против силы, а не Бог против Бога. В обоих случаях одно и то же недоразумение: за внешнею, временною войною — внутренний вечный мир.

Итак, на вопрос, чем народ победит мещанство, у Герцена нет никакого ответа. Правда, он мог бы позаимствовать ответ у своего друга, анархиста Бакунина, мог бы перейти от социализма к *анархизму*. Социализм желает заменить один общественный порядок другим, власть меньшинства властью большинства; анархизм отрицает всякий общественный порядок, всякую внешнюю власть, во имя абсолютной свободы, абсолютной личности,— этого начала всех начал и конца всех концов. Мещанство, непобедимое для социализма, *кажется* (хотя только до поры, до времени, до новых еще более крайних выводов, которых, впрочем, ни Герцен, ни Бакунин не предвидели) победимым для анархизма. Сила и слабость социализма как религии в том, что он предопределяет будущее социальное творчество и тем самым невольно включает в себя дух вечной середины, мещанства, неизбежное метафизическое следствие позитивизма как религии, на котором и сам он, социализм, построен. Сила и слабость анархизма в том, что он не предопределяет никакого социального творчества, не связывает себя никакой ответственностью за будущее перед прошлым и с исторической мели мещанства выплывает в открытое море неизведанных исторических глубин, где предстоит ему или окончательное крушение, или открытие нового неба и новой земли. „Мы должны разрушать, только разрушать, не думая о творчестве,— творить не наше дело",— проповедует Бакунин. Но тут уже кончается сознательный позитивизм и начинается скрытая, бессознательная *мистика*, пусть безбожная, противобожная, но все же мистика. Когда Бакунин в „Dieu et l'état» * полагает свой „антитеологизм", вернее, *антитеизм* теоретической основой безвластия,— он касается слишком опасных пределов отрицания, где минус на минус, отрицание на отрицание легко дает

* Бог и государство *(франц.)*.

неожиданный плюс, нечаянное утверждение какой-то обратной, бессознательной религии. Бакунинский „абсолютно свободный человек“ слишком похож на фантастического „сверхчеловека“, не-человека, чтобы со спокойным сердцем мог его принять Герцен, который боится всякой мистики больше всего, *даже больше самого мещанства*, не сознавая, что этот суеверный страх мистики уже имеет в себе нечто мистическое. Как бы то ни было, правоверный социалист Герцен отшатнулся от впавшего в ересь анархиста Бакунина.

В конце жизни Герцен потерял или почти потерял надежду на социальный переворот в Европе, кажется, впрочем, потому, что перестал верить не столько в его возможность, сколько в спасительность.

Тогда-то загорелся последний свет в надвигавшейся тьме, последняя надежда в наступавшем отчаянии,— надежда на Россию, на русскую сельскую общину, которая, будто бы, спасет Европу.

II

Ежели Герцен был Мефистофелем Бакунина в разоблачении бессознательной мистики анархического „подполья“, то Бакунин, в свою очередь, оказался Мефистофелем Герцена в разоблачении столь же бессознательной мистики русской общины как спасительницы Европы.

„Вы все готовы простить,— писал Бакунин Огареву и Герцену с Исхии в 1866 году,— пожалуй, готовы поддерживать все, если не прямо, так косвенно, лишь бы оставалось неприкосновенным ваше *мистическое святая святых* — великорусская община, от которой мистически, не рассердитесь за обидное, но верное слово, вы ждете спасения не только для великорусского народа, но и всех славянских земель, для Европы, для мира. А кстати, скажите, отчего вы не соблаговолили отвечать серьезно и ясно на серьезный упрек, сделанный вам: вы запнулись за русскую избу, которая сама запнулась, да и стоит века в *китайской неподвижности* со своим правом на землю.

Почему эта община, от которой вы ожидаете таких чудес в будущем, в продолжение десяти веков прошедшего существования не произвела из себя ничего, кроме самого гнусного рабства? Гнусная гнилость и совершенное бесправие патриархальных обычаев, бесправие лица перед миром и всеподавляющая тягость этого мира, убивающая всякую возможность индивидуальной инициативы, отсутствие права не только юридического, но простой справедливости в решениях того же мира и жестокая бесцеремонность его отношений к каждому бессильному и небогатому члену, его систематичная притеснительность к тем членам, в которых проявляются притязания на малейшую самостоятельность, и готовность продать всякое право и всякую правду за ведро водки — вот, во всецелости ее настоящего характера, великорусская крестьянская община".

Что мог бы правоверный Герцен ответить еретику Бакунину на эту анафему? Ничего позитивного, а разве только мистическое: credo, quia absurdum *,— так же, впрочем, как и Бакунин ничего не мог бы ответить Герцену по вопросу об „антитеологическом", но все-таки слишком теологическом основании анархизма, этого непонятного с точки зрения позитивной, то есть *относительной, абсолютного* освобождения *абсолютной личности*. В том-то и дело, что у обоих, у Герцена и Бакунина, были такие предельные выводы, дойдя до которых, они должны были, глядя друг другу в глаза, рассмеяться, как авгуры. Но они хотели быть не авгурами, жрецами старых богов, а пророками новых и потому избегали смотреть друг другу в глаза. Каждый, чтобы не смеяться над самим собою, смеялся над своим противником; но во время этого взаимного смеха царапали кошки на сердце обоих.

Почему, в самом деле, общинное владение муравейником должно избавить муравьев от муравьиной участи? И чем дикое рабство лучше культурного хамства?

Когда Герцен бежал из России в Европу, он попал из одного рабства в другое, из материального — в духовное. А когда захотел обратно бежать из Евро-

* Верую, ибо абсурдно *(лат.)*.

пы в Россию, то попал из европейского движения к новому Китаю — в старую „китайскую неподвижность“ России. В обоих случаях — из огня да в полымя. Какой из двух Китаев лучше, старый или новый? *Оба хуже*, как отвечают дети. Герцен это знал, но не хотел знать. И когда бегал из одного Китая в другой, то от себя самого бегал, метался в последнем ужасе последнего сознания, что уже ни во что не верит ни в Европе, ни в России.

— „Помилуйте, к чему же после этого вся история? — спрашивает он себя в одном из своих безнадежных гамлетовских монологов.

— *Да и все на свете к чему?* Что касается до истории, я не делаю ее и потому за нее не отвечаю“.

Но ведь это каинов ответ. Ведь это байроновская Darkness *, последняя „тьма“, предел отчаяния, на какое только способна душа человеческая. Ведь ежели вся история — бессмыслица, то не из-за чего было и огород городить — бороться с мещанством, деспотизмом, реакцией: будь, что будет, все равно, весь мир — „дьяволов водевиль“; и обращаясь ко всему миру, остается воскликнуть, как в 1849 году, после революции, восклицает Герцен, обращаясь к старой Европе:

„Да здравствует разрушение и хаос! Да здравствует смерть!“

Или, что еще хуже: да здравствует мещанство!

„Христианство обмелело“,— утверждает Герцен. Если обмелело, значит, когда-то было глубоким. Почему же не исследует он эту глубину христианства? Не потому ли, что позитивный лот, пригодный для мели христианства, не хватает до дна в глубоких местах?

Вместе с христианством,— добавляет Герцен,— „обмелела и революция“. Если они обмелели вместе, не значит ли это, что мель у них общая и общая глубина? Мель — позитивная — абсолютное мещанство человека без Бога; глубина — религиозная — абсолютное благородство человека в Боге. Сам Герцен признает связь революционных идей с религиозными, понимает, что „декларация прав человеческих“ не могла бы явиться до и без христианства.

* Тьма *(англ.)*.

„Революция,— говорит он,— так же как реформация, стоят на церковном погосте. Вольтер, благословивший Франклинова внука, „во имя Бога и свободы“,— такой же богослов, как Василий Великий и Григорий Назианзин, только разных толков. Лунный холодный отсвет католицизма (то есть одной из величайших попыток вселенского христианства) прошел всеми судьбами революции. Последнее слово католицизма сказано реформацией и революцией; они обнаружили его тайну; мистическое искупление разрешено политическим освобождением. Символ веры Никейского собора выразился признанием прав каждого человека в символе последнего вселенского собора, то есть конвента 1792 года. Нравственность евангелиста Матфея — та же самая, которую проповедует деист Ж. Ж. Руссо. Вера, любовь и надежда — при входе, свобода, братство и равенство — при выходе“.

Если так, то, казалось бы, прежде чем произносить смертный приговор европейской культуре и бежать от нее к русскому варварству, в отчаянии последнего безверия, следовало бы подумать, нельзя ли эти два обмелевшие начала всемирной культуры — религию и общественность — как-нибудь сдвинуть с их общей позитивной мели в их общую религиозную глубину. Почему же Герцен об этом не думает? Кажется, все потому же: религиозных глубин боится он еще больше, чем позитивных мелей; ему мерещится в глубине всякой мистики свирепое чудовище реакции, своего рода апокалипсический зверь, выходящий из бездны.

За осторожного Герцена подумал и ответил неосторожный Бакунин, который свел социологическую дилемму Герцена к дилемме теологической или „антитеологической“: „Dieu est, donc l'homme est esclave. L'homme est libre, donc il n'y a point de Dieu.— Je défie qui que ce soit de sortir de ce cercle et maintenant choisissons“.

„Бог есть, значит, человек — раб. Человек свободен, значит, нет Бога. Я утверждаю, что никто не выйдет из этого круга, а теперь выберем“.

„Религия человечества,— заключает Бакунин,— должна быть основана на развалинах религии Божества“.

Вольтер утверждал: если нет Бога, надо Его изобрести. Бакунин утверждает как раз противоположное: если есть Бог, надо Его упразднить. Это напоминает слова черта Ивану Карамазову:

— Надо разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело. Раз человечество отречется поголовно от Бога, то наступит все новое.

В 1869 году, на бернском конгрессе лиги Мира и Свободы, Бакунин предложил принять в основу социалистической программы отрицание всех религий и признание, что „бытие Бога несогласно со счастием, достоинством, разумом, нравственностью и свободой людей". Когда большинство отвергло эту резолюцию, Бакунин с некоторыми членами из меньшинства образовал новый союз, Alliance Socialiste *, первый параграф коего гласил: „Союз объявляет себя безбожным" (athée).

Этот яростный „антитеологизм" есть уже не только отрицание религии, но и *религия отрицания*, какая-то новая религия без Бога или против Бога, полная не менее фанатическою ревностью, чем старые религии с Богом. Тургенев удивился, услышав о выходке Бакунина на бернском конгрессе. „Что с ним случилось? — спрашивал у всех Тургенев.— Ведь он всегда был верующим, даже Герцена бранил за атеизм. Что же с ним такое случилось?"

Понятно, для чего нужно черту уничтожить в людях идею о Боге: на то он и черт, чтобы ненавидеть Бога. Но М. А. Бакунин, несмотря на всю свою антитеологическую ярость,— не черт, а простой человек, да к тому же еще религиозный. Что же с ним, в самом деле, случилось? Отчего он вдруг возненавидел имя Божие и, как одержимый, начал богохульствовать?

„Если есть Бог, то человек — раб", утверждает Бакунин. Почему? Потому что „свобода есть отрицание всякой власти, а Бог есть власть". Это положение Бакунин считает аксиомой. И действительно, это было бы аксиомой, если бы не было Христа. Христос открыл людям, что Бог — не власть, а любовь, не внешняя сила власти, а внутренняя сила любви. Любящий не желает рабства любимому. Между лю-

* Социалистический Союз *(франц.)*.

бящим и любимым нет иной власти, кроме власти любви; но власть любви уже не власть, а свобода.

Совершенная любовь — совершенная свобода. Бог — совершенная любовь и, следовательно, совершенная свобода. Когда Сын говорит Отцу: *не Моя, а Твоя да будет воля* — это не послушание рабства, а свобода любви. Нарушить волю Отца Сын не потому не хочет, что не может, а потому не может, что не хочет.

Дилемме Бакунина, утверждающей Бога ненависти и рабства, т. е., в сущности, не Бога, а дьявола, можно противопоставить другую дилемму, утверждающего истинного Бога, Бога любви и свободы:

„Бог есть,— значит человек свободен; человек раб, значит, нет Бога. Я утверждаю, что никто не выйдет из этого круга, а теперь выберем".

Все верующие в Бога всегда были рабами,— согласился бы Герцен с Бакуниным. Но идею о Боге, идею высшего метафизического порядка нельзя подчинять опыту низшего исторического порядка. Да и полно, все ли верующие в Бога были рабами? А Иаков, боровшийся с Богом, а Иов, роптавший на Бога, а израильские пророки, а христианские мученики?

Бакунин и Герцен, желая бороться с метафизической идеей о Боге, на самом деле борются только с историческими призраками, искажающими преломлениями этой идеи в туманах политических низин; борются не с именем Божиим, а с теми богохульствами, которыми „князь мира сего", вечный политик, старается закрыть от людей самое святое и страшное для него, дьявола, из всех имен Божиих: *Свобода*.

Конечно, величайшее преступление истории, как бы второе распятие уже не Богочеловека, а богочеловечества, заключается в том, что на кресте, знамении божественной свободы, распяли свободу человеческую. Но неужели Бакунин и Герцен решились бы утверждать, что в этом преступлении участвовал сам Распятый, что Христос желал людям рабства? Неужели Бакунин и Герцен никогда не думали о том, что́ значит ответ Христа диаволу, который предлагает Ему власть над всеми царствами мира сего: *ибо она*

принадлежит мне,— говорит диавол,— *и я кому хочу, даю ее.* Ежели Тот, Кто сказал: *Мне принадлежит всякая власть на земле и на небе,*— отверг всякую государственную власть, как принадлежащую диаволу, то не значит ли это, что между истинною внутреннею властью любви, свободой Христовой, и внешнею ложною властью, рабством,— такая же разница, как между царством Божиим и царством диавола? Неужели Бакунин и Герцен никогда не думали о том, что значит и это слово Христа: *Я научу вас истине, и истина сделает вас свободными.* Ежели для них это не сдержанное, то, может быть, на самом деле это только не понятое, не вмещенное слово: *Вы теперь не можете вместить; когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину.* И на ту последнюю истину любви, которая сделает людей свободными.

В первом царстве Отца, Ветхом Завете, открылась власть Божия, как истина, во втором царстве Сына, Новом Завете, открывается истина как любовь; в третьем и последнем царстве Духа, в Грядущем Завете, откроется любовь как свобода. И в этом последнем царстве произнесено и услышано будет последнее, никем еще не произнесенное и не услышанное имя Господа Грядущего: Освободитель.

Но здесь мы уже сходим не только с *этого* берега, на котором стоит европейская культура, со своим мещанством прошлого и настоящего,— но и *с того берега,* на котором стоит Герцен перед мещанством будущего; мы выплываем в открытый океан, в котором исчезают все берега, в океан грядущего христианства как одного из трех откровений всеединого Откровения Троицы.

Трагедия Герцена — в раздвоении: сознанием своим он отвергал,— бессознательно искал Бога. Сознанием своим так же, как в бакунинской дилемме, из принятой посылки: человек свободен,— делал вывод: значит, нет Бога; бессознательно чувствовал неотразимость обратной дилеммы: если нет Бога, то нет и свободы. Но сказать: нет свободы,— для Герцена было все равно, что сказать: нет смысла в жизни, не для чего жить, не за что умереть. И действительно, он жил для того и умер за то, во что уже почти не верил.

Это — не первый пророк и мученик нового, а последний боец, умирающий гладиатор старого мира, старого Рима.

> Ликует буйный Рим... торжественно гремит
> Рукоплесканьями широкая арена,—
> А он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит.
> Во прахе и крови скользят его колена.

Зверь, с которым борется этот гладиатор,— мещанство будущего. Подобно своим предкам, северным варварам, он вышел на борьбу голый, без щита и оружия. А другой зверь, „тысячеголовая гидра, паюсная икра“ мещанства прошлого и настоящего, глядит на юного скифа со ступеней древнего амфитеатра.

> И кровь его течет — последние мгновенья
> Мелькают — близок час... Вот луч воображенья
> Сверкнул в его душе...

Предсмертное видение Герцена — Россия как „свободной жизни край“ и русская крестьянская община как спасение мира. Старую любовь свою он принял за новую веру, но, кажется, в последнюю минуту понял, что и эта последняя вера — обман. Если, впрочем, обманула вера, то любовь не обманула; в любви его к России было какое-то истинное прозрение: не крестьянская община, а *христианская общественность*, может быть, в самом деле будет новою верою, которую принесут юные варвары старому Риму.

А пока умирающий все-таки умирает — без всякой веры:

> ...Прости, развратный Рим! Прости, о край родной!

В судьбе Герцена, этого величайшего русского интеллигента, предсказан вопрос, от которого зависит судьба всей русской интеллигенции: поймет ли она, что лишь в грядущем христианстве заключена сила, способная победить мещанство и хамство грядущее? Если поймет, то будет первым исповедником и мучеником нового мира; а если нет, то, подобно Герцену,— только последним бойцом старого мира, умирающим гладиатором.

III

Когда будут говорить: мир, мир,— тогда внезапно нападет на них пагуба. Это пророчество никогда не казалось ближе к исполнению, чем в наши дни.

В то самое время, когда Запад в лице России заключает мир с Востоком и все народы повторяют: мир, мир,— происходит воинственное свидание в Свинемюнде. Два просвещеннейшие народа сошлись только для того, чтобы показать друг другу бронированные кулаки. Точно два хищных зверя подкрались друг к другу, сдвинули морды, рыча и скаля зубы, обнюхались, ощетинились, готовые броситься, чтобы растерзать друг друга, и пятясь, молча разошлись.

Это не реальное событие, а идеальное знаменье современной европейской культуры. Внешняя политика только циническое обнажение внутренней. „По плодам узнаете их“. Плод внутреннего, духовного мещанства — внешнее международное зверство — милитаризм, шовинизм.

И у древней римской волчицы были острые зубы, была кровожадная хищность в политике. Но когда дело доходило до некоторых общих идей — до Pax romana*, идеи вселенского мира и Вечного Града, воплощения вечного разума,— Рим останавливался и благоговейно склонял свои fasces, значки легионов с победоносными орлами перед этими нерушимыми святынями. И в самую глухую ночь средневекового варварства, среди феодальной междоусобицы, народы прекращали войны и слагали оружие, по мановению кроткого старца, римского первосвященника, который напоминал им завет Христа: *Да будет един пастырь и едино стадо.*

Теперь уже — ни римской веси, ни римской церкви. Никакой общей идеи, никакой общей святыни. Над „христианскими“ государствами, этими старыми готическими лавочками, все еще возвышается кое-где полусгнивший деревянный протестантский или ржавый медный католический крест, но никто уже не обращает на них внимания. Религия современной

* Романский мир *(лат.)*.

Европы — не христианство, а мещанство. От благоразумного сытого мещанства до безумного голодного зверства один шаг. Не только человек человеку, но и народ народу — волк. От взаимного пожирания удерживает только взаимный страх, узда слишком слабая для рассвирепевших зверей. Не сегодня, так завтра они бросятся друг на друга и начнется небывалая бойня.

У одного французского писателя, Вилльe де Лилль Адана, есть фантастический рассказ о двух соседних городах, населенных честными добрыми мещанами и лавочниками: поссорившись из-за какого-то вздора, город идет войною на город и, несмотря на трусость или вследствие этой трусости, лавочники истребляют лавочников так, что от всей благополучной мещанской культуры остаются лишь рожки да ножки.

Международная политика современной Европы напоминает политику этих трусливых и свирепых лавочников.

Когда вглядываешься в лица тех, от кого зависят ныне судьбы Европы,— вспоминаются предсказания Милля и Герцена о неминуемой победе духовного Китая. Прежде бывали в истории изверги, Тамерланы, Аттилы, Борджиа. Теперь уже не изверги, а люди как люди. Вместо скипетра — аршин, вместо Библии — счетная книга, вместо алтаря — прилавок. Какая самодовольная пошлость и плоскость в выражении лиц! Смотришь и „дивишься удивлением великим“, как сказано в Апокалипсисе: откуда взялись эти коронованные лакеи Смердяковы, эти торжествующие хамы?

Да, со времени Герцена и Милля мещанство сделало в Европе страшные успехи.

Все благородство культуры, уйдя из области общественной, сосредоточилось в уединенных личностях, в таких великих отшельниках, как Ницше, Ибсен, Флобер и все еще самый юный из юных — старец Гете. Среди плоской равнины мещанства эти бездонные артезианские колодцы человеческого духа свидетельствуют о том, что под выжженной землею еще хранятся живые воды. Но нужен геологический переворот, землетрясение, чтобы подземные воды могли вырваться наружу и затопить равнину, снести

муравьиные кучи, опрокинуть старые лавочки мещанской Европы. А пока — мертвая засуха.

И даже великие отшельники европейского гения, только что, выходя из круга личной культуры, касаются общественности,— теряют свое благородство, пошлеют, мелеют, истощаются, как степные реки в песках.

Когда Гете говорит о французской революции, он вдруг никнет к земле, точно по какому-то злому волшебству великан сплющивается, сморщивается в карлика, из эллинского полубога становится немецким бюргером и — да простит мне тень олимпийца — немецким филистером, „господином фон Гете“, тайным советником Веймарского герцога и честным сыном честного франкфуртского лавочника. Когда Флобер утверждает: la politique est faite pour la canaille * — с грустью вспоминаешь салон принцессы Матильды и другие раззолоченные хлевы второй империи, где метал этот Симеон-столпник эстетики жемчуг перед свиньями, проповедуя свою новую олигархию из „ученых мандаринов“. Когда Ницше делает глазки не только Бисмарку, но и русскому самодержцу как величайшим проявлениям „воли к могуществу“, *Wille zur Macht* среди современной европейской немощи,— то и на бледном челе „распятого Диониса“ выступает то же черное пятно мещанской заразы. Всех благороднее, потому что откровеннее всех кажется, Ибсен, который свое отношение к общественности выразил двумя словами: *враг народа.*

А друзья народа, такие гениальные вожди демократии, как Лассаль, Энгельс, Маркс, проповедуя социализм, не только не предупреждают практически, но и теоретически не предвидят той опасности „нового Китая“, „духовного мещанства“, которых так боялись Герцен и Милль.

И в ответ социалистам звучит страшная песня новых троглодитов:

Vive le son, vive le son
De l'explosion! **

---

* Политика — занятие для каналий *(франц.).*

** Да здравствует звук, да здравствует звук взрыва! *(франц.).*

Анархизм — последняя судорога уже не общественного, а личного бунта против нестерпимого гнета государственного мещанства.

Некогда всю глубину мировой скорби, связанной с этим провалом европейской общественности, измеряли такие певцы одинокого отчаяния, как Леопарди и Байрон. Теперь уже ничей взор не измерит этой глубины: она оказалась бездонной. Молча обходят ее зрячие, слепые в нее молча падают.

Но тут невольно, с последним отчаянием или с последней надеждою, наш взор, так же как предсмертный взор „сраженного гладиатора“, Герцена, обращается от одной из „двух наших родин“ к другой, от Европы к России, от мрачного Запада к Востоку, еще более мрачному, хотя уже окровавленному не то зарей, не то заревом. Для Герцена этот „свет с Востока“ было возрождение „крестьянской общины“, для нас это — возрождение христианской общественности. И тут опять возникает в начале XX века вопрос, поставленный в середине XIX: мещанство, не побежденное Европою, победит ли Россия?

IV

„Русская интеллигенция — лучшая в мире“,— объявил недавно Горький.

Я этого не скажу, не потому, чтобы я этого не желал и не думал, а просто потому, что совестно хвалить себя. Ведь и я, и Горький, оба мы — русские интеллигенты. И, следовательно, не нам утверждать, что русский интеллигент наилучший из всех возможных интеллигентов в наилучшем из всех возможных миров. Такой оптимизм опасен особенно по нынешним временам в России, когда всяк кулик свое болото хвалит. Нет, уж лучше по другой пословице: кого люблю, того и бью. Оно больнее, зато здоровее. Итак, я не берусь решить, что такое русская интеллигенция, чудо ли она или чудовище,— я только знаю, что это, в самом деле, нечто единственное в современной европейской культуре.

Мещанство захватило в Европе общественность; от него спасаются отдельные личности в благородст-

во высшей культуры. В России наоборот: отдельных личностей не ограждает от мещанства низкий уровень нашей культуры; зато наша общественность вся насквозь благородна.

„В нашей жизни, в самом деле, есть что-то безумное, но нет ничего пошлого, *ничего мещанского*".

Ежели прибавить: не в нашей личной, а в нашей общественной жизни,— то эти слова Герцена, сказанные полвека назад, и поныне останутся верными.

Русская общественность — вся насквозь благородна, потому что вся насквозь трагична. Существо трагедии противоположно существу идиллии. Источник всякого мещанства — идиллическое благополучие, хотя бы и дурного вкуса, „сон золотой", хотя бы и сусального китайского золота. Трагедия, подлинное железо гвоздей распинающих — источник всякого благородства, той алой крови, которая всех этой крови причащающихся делает „родом царственным". Жизнь русской интеллигенции — сплошное неблагополучие, сплошная трагедия.

Кажется, нет в мире положения более безвыходного, чем то, в котором очутилась русская интеллигенция,— положения между двумя гнетами: гнетом сверху, самодержавного строя, и гнетом снизу, темной народной стихии, не столько ненавидящей, сколько не понимающей,— но иногда непонимание хуже всякой ненависти. Между этими двумя страшными гнетами русская общественность мелется, как чистая пшеница Господня,— даст Бог, перемелется, мука будет, мука для того хлеба, которым, наконец, утолится великий голод народный; а пока все-таки участь русского интеллигента, участь зерна пшеничного,— быть раздавленным, размолотым — участь трагическая. Тут уж не до мещанства, не до жиру, быть бы живу!

Вглядитесь: какое в самом деле ни на что не похожее общество, какие странные лица.

Вот молодой человек, „бедно одетый, с тонкими чертами лица", убийца старухи-процентщицы, подражатель Наполеона, недоучившийся студент Родион Раскольников. Вот студент медицины, который потрошит своим скальпелем и скепсисом живых лягушек, мертвых философов, проповедует *Stoff und*

Крафт * с такою же разбойничьей удалью, как ребята Стеньки Разина покрикивали некогда: *сарынь на кичку*! — нигилист Базаров. Вот опростившийся барин-философ, пашущий землю, Николай Левин. Вот стыдливый, как девушка, послушник, „краснощекий реалист", „ранний человеколюбец", Алеша Карамазов. И брат его Иван — ранний человеконенавистник, Иван — „глубокая совесть". И, наконец, самый необычайный из всех, „человек из подполья", с губами, искривленными как будто вечною судорогою злости, с глазами, полными любви новой, еще неведомой миру, „Иоанновой", с тяжелым взором эпилептика, бывший петрашевец и каторжник, будущая противоестественная помесь реакционера с террористом, полубесноватый, полусвятой, Федор Михайлович Достоевский.

За ними другие, безымянные, лица еще более строгого классического благородства, точно из мрамора изваянные, образы новых Гармодиев и Аристогитонов, Сен-Жюстов и Камиль Демуленов, гневные херувимы народных бурь. И девушки — как чистые весталки, как новые Юдифи, идущие в стан Олоферна, с молитвою в сердце и с мечом в руках.

А в самой темной глубине, среди громов и молний нашего Синая, 14 декабря — уже почти нечеловеческие облики первых пророков и праотцов русской свободы,— изваяния уже не из мрамора, а из гранита, не того ли самого, чью глыбу попирает Медный Всадник?

Это все что угодно, только не мещане. Пусть бы осмелился Флобер утверждать в их присутствии: *la politique est faite pour la canaille*. Он скорее бы сделался сам, чем сделал бы их чернью. Для них политика — страсть, хмель, „огонь поедающий", на котором воля, как сталь, раскаляется добела. Это ни в каких народных легендах не прославленные герои, ни в каких церковных святцах не записанные мученики — но подлинные герои, подлинные мученики.

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

---

* Материя и энергия *(нем.)*.

Когда совершится „великое дело любви“, когда закончится освободительное движение, которое они начали и продолжают,— только тогда Россия поймет, что эти люди сделали и чего они стоили.

Что же это за небывалое, единственное в мире общество, или сословие, или каста, или вера, или заговор? Это не каста, не вера, не заговор — это все вместе в одном, это — русская интеллигенция.

Откуда она явилась? Кто ее создал? Тот же, кто создал или, вернее, родил всю новую Россию,— Петр.

Я уже раз говорил и вновь повторяю и настаиваю: *первый русский интеллигент — Петр.* Он отпечатлел, отчеканил, как на бронзе монеты, лицо свое на крови и плоти русской интеллигенции. Единственные законные наследники, дети Петровы — все мы, русские интеллигенты. Он в нас, мы в нем. Кто любит Петра, тот и нас любит; кто его ненавидит, тот ненавидит и нас.

Что такое Петр? Чудо или чудовище? Я опять-таки решать не берусь. Он слишком родной мне, слишком часть меня самого, чтобы я мог судить о нем беспристрастно. Я только знаю — другого Петра не будет, он у России один; и русская интеллигенция у нее одна, другой не будет. И пока в России жив Петр Великий, жива и великая русская интеллигенция.

Мы каждый день погибаем. У нас много врагов, мало друзей. Велика опасность, грозящая нам, но велика и надежда наша: с нами Петр.

V

Среди всех печальных и страшных явлений, которые за последнее время приходится переживать русскому обществу,— самое печальное и страшное — та дикая травля русской интеллигенции, которая происходит, к счастью, пока только в темных и глухих подпольях русской печати.

Нужна ли России русская интеллигенция? — вопрос так нелеп, что, кажется иногда, отвечать не стоит. Кто же сами вопрошающие, как не интеллигенты? Сомневаясь в праве русской интеллигенции на существование, они сомневаются в своем собственном праве на существование,— может быть, впрочем,

и хорошо делают, потому что слишком ничтожна степень их „интеллигентности". Поистине есть в этой травле что-то самоубийственное, граничащее с буйным помешательством, для которого нужны не доводы разума, а смирительная рубашка. Бывают, впрочем, такие минуты, когда самому разуму ничего не остается делать, как надевать эту смирительную рубашку на буйство безумных.

Среди нечленораздельных воплей и ругательств можно разобрать одно только обвинение, имеющее некоторое слабое подобие разумности — обвинение русской интеллигенции в „беспочвенности", оторванности от знаменитых „трех основ", трех китов народной жизни.

Тут, пожалуй, не только „беспочвенность", готовы мы согласиться, тут *бездна*, та самая „бездна", над которою Медный Всадник Россию „вздернул на дыбы",— всю Россию, а не одну лишь русскую интеллигенцию. Пусть же ее обвинители скажут прямо: Петр не русский человек. Но в таком случае мы, „беспочвенные" интеллигенты предпочитаем остаться с Петром и Пушкиным, который любил Петра, как самого родного из родных, нежели с теми, для кого Петр и Пушкин — чужие.

„Страшно свободен духом русский человек",— говорит Достоевский, указывая на Петра. В этой-то страшной свободе духа, в этой способности внезапно отрываться от почвы, от быта, истории, сжигать все свои корабли, ломать все свое прошлое во имя неизвестного будущего,— в этой произвольной *беспочвенности* и заключается одна из глубочайших особенностей русского духа. Нас очень трудно сдвинуть; но раз мы сдвинулись, мы доходим во всем, в добре и зле, в истине и лжи, в мудрости и безумии, до крайности. „Все мы русские любим по краям и пропастям блуждать",— еще в XVII веке жаловался наш первый славянофил, Крижанич. Особенность, может быть, очень опасная, но что же делать? Быть самими собою не всегда безопасно. Отречься от нее значит сделаться не только „беспочвенным", но и безличным, бездарным. Это похоже на парадокс, но иногда кажется, что наши „почвенники", самобытники, националисты, гораздо менее русские люди, чем наши нигилисты, отрицатели, наши интеллигентные „бегу-

ны“ и „нетовцы“. Самоотрицание, самосожжение — нечто нигде, кроме России, невообразимое, невозможное. Между протопопом Аввакумом, готовым сжечься и жечь других за старую веру, и анархистом Бакуниным, предлагавшим, во время Дрезденской революции, выставить на стенах осажденного города Сикстинскую Мадонну для защиты от прусских бомб,— пруссаки-де народ образованный, стрелять по Рафаэлю не посмеют,— между этими двумя русскими *крайностями* — гораздо больше сходного, чем это кажется с первого взгляда.

Пушкин сравнивал Петра с Робеспьером и в петровском преобразовании видел „революцию сверху“, „белый террор“. В самом деле, Петр не только первый русский интеллигент, но и первый русский нигилист. Когда „протодиакон всешутейшего собора“ кощунствует над величайшими народными святынями, это нигилизм гораздо более смелый и опасный, чем нигилизм Писарева, когда он разносит Пушкина.

Русские крестьяне-духоборы, очутившиеся где-то на краю света, в Канаде, распустившие домашний скот и сами запрягшиеся в плуги из милосердия к животным,— это ли не „беспочвенность“? И вместе с тем это ли не русские люди? „Духоборчество“, чрезмерная духовность, отвлеченность, рационализм, доходящий до своих предельных выводов, до края «бездны», сказавшийся в нашем простонародном сектантстве, сказывается и в нашей интеллигенции. Нигилист Базаров говорит: „умру, лопух вырастет“. Нил Сорский завещает не хоронить себя, а бросить где-нибудь в поле, как „мертвого пса“: в обоих случаях, несмотря на разницу в выводах, одна и та же бессознательная метафизика — аскетическое презрение духа к плоти. Интеллигентная „беспочвенность“, отвлеченный идеализм есть один из последних, но очень жизненных отпрысков народного аскетизма.

Беда русской интеллигенции не в том, что она недостаточно, а, скорее, в том, что она *слишком русская*, только русская. Когда Достоевский в глубине русского искал „всечеловеческого“, всемирного, он чуял и хотел предупредить эту опасность.

„Беспочвенность“ — черта подлинно русская, но, разумеется, тут еще не вся Россия. Это только одна из противоположных крайностей, которые так удиви-

тельно совмещаются в России. Рядом с интеллигентами и народными рационалистами-духоборами есть интеллигентные и народные хлысты-мистики.

Рядом с чересчур трезвыми есть чересчур пьяные. Кроме равнинной, вширь идущей, несколько унылой и серой, дневной России Писарева и Чернышевского:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —

есть вершинная и подземная, ввысь и вглубь идущая, тайная, звездная, ночная Россия Достоевского и Лермонтова:

Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит...

Какая из этих двух Россий подлинная? Обе одинаково подлинные.

Их разъединение дошло в настоящем до последних пределов. *Как соединить их,*— вот великий вопрос будущего.

VI

Второе обвинение, связанное с обвинением в „беспочвенности",— „безбожие" русской интеллигенции.

Едва ли простая случайность то, что это обвинение в безбожии исходит почти всегда от людей, о которых сказано: *устами чтут Меня, но сердце их далече отстоит от Меня.*

О русской интеллигенции иногда хочется сказать обратное: устами не чтут Меня; но сердце их недалече отстоит от Меня.

Вера и сознание веры не одно и то же. Не все, кто думает верить,— верит; и не все, кто думает не верить,— не верит. У русской интеллигенции нет еще религиозного сознания, исповедания, но есть уже великая и все возрастающая религиозная жажда. *Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся.*

Существуют многие противоположные, не только положительные, но и отрицательные пути к Богу. Богоборчество Иакова, ропот Иова, неверие Фомы — все это подлинные пути к Богу.

Пусть русские интеллигенты — „мытари и греш-

ники“, последние из последних. „Мытари и грешники идут в царствие Божие впереди“ тех фарисеев и книжников, которые „взяли ключ разумения, сами не входят и других не пускают“. „Последние будут первыми“.

Иногда кажется, что самый атеизм русской интеллигенции — какой-то особенный, мистический атеизм. Тут у нее такое же, как у Бакунина, отрицание религии, переходящее в религию отрицания; такое же, как у Герцена, трагическое раздвоение ума и сердца; ум отвергает, сердце ищет Бога.

Для великого наполнения нужна великая пустота. „Безбожие“ русской интеллигенции не есть ли эта пустота глубокого сосуда, который ждет наполнения?

„Было же тут шесть каменных водоносов. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, тогда зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе“.

Надежда наша в том, что наша Кана Галилейская впереди: водоносы наши стоят еще пустые; мы пьем вино худшее, а хорошее Архитриклион сберег доселе.

Достоевский, вспомнив как-то лет через тридцать один из своих разговоров с Белинским, восклицает с таким негодованием, как будто разговор происходил только вчера: „Этот человек ругал при мне Христа“.

И делает неистовый вывод:

„Белинский — самое тупое и смрадное явление русской жизни“. Тут какое-то страшное недоразумение. Страшно то, что Белинский мог ругать Христа. Но, может быть, еще страшнее то, что на основании этих ругательств Достоевский *через тридцать лет* мог произнести такой приговор над Белинским, не поняв, что если этот человек, как свеча сгоревший перед *Кем-то*, Кого так и не узнал, не сумел назвать по имени,— и не был со Христом, то Христос был с ним. *Всякая хула на Сына Человеческого простится людям.* Когда Белинский восстал на Гоголя за то, что в „Переписке с друзьями“ Гоголь пытался освятить

рабство именем Христовым, то Белинский, Христа „ругавший“, был, конечно, ближе к Нему, нежели Гоголь, Христа исповедовавший.

О русской интеллигенции иногда можно сказать то же, что о Белинском: она еще не с Христом, но уже с нею Христос.

Не следует, конечно, на этом успокаиваться: Он стоит у дверей и стучит; но если мы не услышим и не отворим,— Он уйдет к другим.

VII

„Безбожие“ русской интеллигенции зависит от религиозного недостатка не во всем ее существе, а только в некоторой части его,— не в чувстве, совести, воле, а в сознании, в уме, *intellectus*, т. е. именно в том, что интеллигенцию и делает интеллигенцией.

Может быть, самое слово это не совсем точно совпадает с объемом понятия. Сила русской интеллигенции — не в *intellectus*, не в уме, а в сердце и совести. Сердце и совесть ее почти всегда на правом пути; ум часто блуждает. Сердце и совесть свободны, ум связан. Сердце и совесть бесстрашны и „радикальны“, ум робок и в самом радикализме консервативен, подражателен. При избытке общественных чувств — недостаток *общих идей*. Все эти русские нигилисты, материалисты, марксисты, идеалисты, реалисты — только волны мертвой зыби, идущей с Немецкого моря в Балтийское.

> Что ему книга последняя скажет,
> То ему на душу сверху и ляжет.

Взять хотя бы наших марксистов. Нет никакого сомнения, что это — превосходнейшие люди. И народ любят они, конечно, не меньше народников. Но когда говорят о „железном законе экономической необходимости“, то кажутся свирепыми жрецами Маркса-Молоха, которому готовы принести в жертву весь русский народ. И договорились до чертиков. Не только другим, но и сами себе опротивели. И наконец, взяв своего Маркса, своего боженьку за ноженьку — да и об пол бряк. Или по другой пословице: плохого

бога и телята лижут — бернштейновские телята оплошавшего Маркса лижут.

Тянулась, тянулась канитель марксистская, а потом потянула босяцкая.

Сначала мы думали, что босяки-то уж, по крайней мере, самобытное явление. Но когда пригляделись и прислушались, то оказалось, что так же точно, как русские марксисты повторяли немца Маркса, и русские босяки повторяли немца Ницше. Одну половину Ницше взяли босяки, другую наши декаденты-оргиасты. Не успел еще скрыться Пляши-Нога, как поклонники нового Диониса запели: „Выше поднимайте ваши дифирамбические ноги!“ (Вяч. Иванов. „Религия Диониса“ в „Вопросах Жизни“). Одного немца пополам разрезали и хватило на два русских „новых слова“.

Глядя на все эти невинные умственные игры рядом с глубочайшей нравственной и общественной трагедией, иногда хочется воскликнуть с невольною досадою: золотые сердца, глиняные головы!

А эстетика деревянная. „Сапоги выше Шекспира“ — этого, конечно, теперь уже никто не скажет словом, но это застряло где-то в извилинах нашей физиологии и нет-нет да и скажется „дурным глазом“ относительно всякой внешней эстетической формы, как бесполезной роскоши. Не то, чтобы мы утверждали прямо: красивое безнравственно, но мы слишком привыкли к тому, что нравственное некрасиво; слишком легко примиряемся с этим противоречием. Если наша этика — „Шекспир“, то эстетика наша иногда действительно немногим выше „сапогов“. Во всяком случае, писаревское „разрушение эстетики“, к сожалению, глубоко национально. Это — в русской, великорусской природе: серенькое небо, серенькие будни —

Ельник, сосны да песок.

И здесь в уме, *intellectus* интеллигенции нашей, как в сердце и воле, тот же народный уклон к аскетизму, к духоборчеству, монашеский страх плоти и крови, страх всякой наготы и красоты как соблазна бесовского. Отсюда — при отношении истинно религиозном к свободе внешней, общественной — неува-

жение к внутренней, личной свободе. Отсюда же у радикальнейших из наших радикалов — нетерпимость раскольников, уставщиков, взаимное подглядывание, как бы кто не оскоромился, не осквернился мирскою скверною. И беспоповцы — реалисты, и поповцы — идеалисты, и федосеевцы — марксисты, и молокане — народники — каждое согласье, каждый толк ест из собственной чашки, пьет из особого „лампадного стаканчика“, не сообщаясь с еретиками. И у всех — одинаковый пост, отвлеченное рационалистическое сухоедение. „Мяса не вкушаем, вина не пьем“.

Говорят, преподобный Серафим Саровский питался долгие годы какою-то болотною травою *сниткою*. Все эти реализмы, идеализмы, монизмы, плюрализмы, эмпириокритицизмы и другие засушенные „измы“, которыми доныне питается русская интеллигенция, напоминают траву снитку.

От умственного голода лица стали унылы, унылы, и бледны, и постны. Все — чеховские „хмурые люди“. В сердцах уже солнце всходит, а в мыслях все еще „сумерки“; в сердцах огонь пламенеющий, а в мыслях стынущая теплота, тепленькая водица, подогретая немецкая *Habersuppe* *; в сердцах буйная молодость, а в мыслях смиренное старчество.

Иногда, глядя на этих молодых стариков, интеллигентных аскетов и постников, хочется воскликнуть:

— Милые русские юноши! Вы благородны, честны, искренни. Вы — надежда наша, вы — спасение и будущность России. Отчего же лица ваши так печальны, взоры потуплены долу? Развеселитесь, усмехнитесь, поднимите ваши головы, посмотрите черту прямо в глаза. Не бойтесь глупого старого черта политической реакции, который все еще мерещится вам то в языческой эстетике, то в христианской мистике. Не бойтесь никаких соблазнов, никаких искушений, никакой свободы, не только внешней, общественной, но и внутренней, личной, потому что без второй невозможна и первая. Одного бойтесь — рабства и худшего из всех рабств — мещанства и худшего из всех мещанств — хамства, ибо во-

* Хлебный суп *(нем.)*.

царившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт — уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют,— грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам.

VIII

„Наша борьба не против крови и плоти, а против властей и начальств, против мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных“.

Миоправитель тьмы века сего и есть грядущий на царство мещанин, Грядущий Хам.

У этого Хама в России — три лица.

Первое, настоящее,— над нами, лицо самодержавия, мертвый позитивизм казенщины, китайская стена табели о рангах, отделяющая русский народ от русской интеллигенции и русской церкви.

Второе лицо, прошлое,— рядом с нами, лицо православия, воздающего Кесарю Божье, той церкви, о которой Достоевский сказал, что она „в параличе“. „Архиереи наши так взнузданы, что куда хошь поведи“,— жаловался один русский архипастырь XVIII века, и то же самое с еще большим правом могли бы сказать современные архипастыри. Духовное рабство — в самом источнике всякой свободы; духовное мещанство — в самом источнике всякого благородства. Мертвый позитивизм православной казенщины, служащий позитивизму казенщины самодержавной.

Третье лицо, будущее,— под нами, лицо хамства, идущего снизу — хулиганства, босячества, черной сотни — самое страшное из всех трех лиц.

Эти три начала духовного мещанства соединились против трех начал духовного благородства: против земли, народа — живой плоти, против церкви — живой души, против интеллигенции — живого духа России.

Для того чтобы, в свою очередь, три начала духовного благородства и свободы могли соединиться против трех начал духовного рабства и хамства, нужна *общая идея*, которая соединила бы интеллигенцию, церковь и народ; а такую общую идею мо-

жет дать только возрождение религиозное вместе с возрождением общественным. Ни религия без общественности, ни общественность без религии, а только *религиозная общественность* спасет Россию.

И прежде всего должно пробудиться религиозно-общественное сознание там, где есть уже сознательная общественность и бессознательная религиозность,— в русской интеллигенции, которая не только по имени, но и по существу своему должна сделаться *интеллигенцией*, то есть воплощенным intellectus'ом, разумом, сознанием России. Разум, доведенный до конца своего, приходит к идее о Боге. Интеллигенция, доведенная до конца своего, придет к религии.

Это кажется невероятным. Но недаром освободительное движение России началось в религии. Недаром такие люди, как Новиков, Каразин, Чаадаев, как масоны, мартинисты и другие мистики конца XVIII, начала XIX века, находятся в самой тесной внутренней связи с декабристами. *Это было и это будет*. Религиозным огнем крестилась русская общественность в младенчестве своем, и тот же огонь сойдет на нее в пору ее возмужалости, вспыхнет на челе ее, как бы „разделяющийся язык огненный“ в новом Сошествии Духа Св. на живой дух России, на русскую интеллигенцию. Потому-то, может быть, и оказалась она в полной темноте религиозного сознания, в своем „безбожии“, что совершила полный круговой оборот от света к свету, от солнца закатного к солнцу восходному, от Первого Пришествия ко Второму. Это ведь и есть путь не только русской интеллигенции, но и всей России от Христа Пришедшего ко Христу Грядущему.

И когда это свершится, тогда русская интеллигенция уже перестанет быть интеллигенцией, *только интеллигенцией*, человеческим, только человеческим разумом,— тогда она сделается Разумом Богочеловеческим, Логосом России как члена вселенского тела Христова, новой истинной Церкви,— уже не временной, поместной, греко-российской, а вечной, вселенской Церкви Грядущего Господа, Церкви Св. Софии, Премудрости Божией, Церкви Троицы нераздельной и неслиянной,— царства не только Отца и Сына, но Отца, Сына и Духа Св.

„Сие и буди, буди!“

А для того, чтобы это было, надо разорвать кощунственный союз религии с реакцией, надо, чтобы люди, наконец, поняли, что́ значит это слово Слова, ставшего Плотью:

Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете (Иоанна XIII, 36).

Не против Христа, а со Христом — к свободе. Христос освободит мир — и никто кроме Христа. Со Христом — против рабства, мещанства и хамства.

Хама грядущего победит лишь Грядущий Христос.

ТЕПЕРЬ ИЛИ НИКОГДА

I

В органе С.-Петербургской Духовной Академии, *Церковном Вестнике*, а затем и во всех органах светской печати появилось „мнение группы столичных священников“ *О необходимости перемен в русском церковном управлении.*

В мнении этом указывается на ненормальное положение русской церкви в государственном строе современной России, на порабощение церкви внешним, чуждым ей, иногда прямо враждебным государственным целям, и на неотложную необходимость восстановить первоначальную каноническую свободу церковного самоуправления, по преданию апостольскому. Ставя в заключение практический вопрос: как же достигнуть этой свободы? — собрание пастырей заявляет: „Ответ, по нашему глубокому убеждению, может быть только один: *чрез нарочито для сего созванный поместный собор русской церкви*“.

Ввиду искони существовавшего и доныне существующего разъединения русского образованного общества и русской церкви следует опасаться, что настоящее заявление не будет понято так, как оно заслуживает по своей неизмеримой важности для современных общественно-политических событий в России.

Ежели прав Достоевский, утверждающий, что „русская церковь в параличе с Петра Великого“, то не есть ли это столь авторитетно и с таким достоинством высказанное мнение „группы столичных священников“, пока только группы, *собрания*, но, может быть, уже заключающего в себе ядро будущего *собора*,— первое движение параличного, расслабленного, который встает по слову Господа: встань, возьми

одр твой и ходи. В самом деле, для верующих в божественное предназначение церкви тут уже начинается великая надежда, надежда чуда или, по крайней мере, чудесной возможности.

Но оставляя в сторону эту внутреннюю, так сказать, трансцендентную точку зрения, доступную пока лишь очень немногим среди русской интеллигенции, нельзя не признать, что и внешний, реальный смысл факта огромный. Оказывается, что духовенство, та именно часть русского общества, которая доныне считалась наиболее реакционною, высказало о государственном строе современной России мысль наиболее радикальную, наиболее идущую к самому глубокому корню вещей из всех доныне в легальной русской печати по этому поводу высказанных мыслей. В самом деле, критика существующего государственного порядка, оставаясь позитивною, утилитарною и касаясь исключительно практических злоупотреблений власти, не затрагивала ее последнего религиозного существа, ее метафизического „быть“ или „не быть“. И вот впервые, в мнении русских пастырей, эта критика, становясь теоретической и приобретая всю неотразимую силу последовательно развивающейся диалектики, где от посылок нельзя не перейти к выводам, вскрывает противоречие и раздвоение в том, что доныне казалось неразложимым единством, вскрывает в самом центре русской государственной власти неразрешенную антиномию двух властей, светской и духовной, „кесарева“ и „Божьего“, самодержавия и православия. А именно указывается на то, что ненормальное положение церкви в государстве стоит в связи с „основной статьей“ нашего законодательства, то есть с первой основой всего нашего государственного строя. Статья эта гласит: „*В управлении церковном самодержавная власть действует посредством святейшего синода, ею учрежденного*“. Это значит: церковь не сама собою управляет, а управляется Государем, и св. синод, „постоянный собор церковный“, является только орудием, рычагом, „посредством“ коего самодержавная власть правит церковью. Но тем самым не подвергается ли величайшему сомнению свобода церкви, не только внешняя, по отношению к государству, но и внутренняя, по отношению к высшим целям ее

религиозного бытия, вся живая жизнь церкви как Тела Христова?

Эта основная статья законодательства, действительная основа основ Русской Империи, ее главный жизненный нерв, ось нашего государственного механизма, доныне оставалась непререкаемой, с точки зрения известного народного тезиса о единстве самодержавия и православия. И вот опять-таки впервые за последние 200 лет собранием православных пастырей, вероятным началом собора, становится великий знак вопроса над этою основою основ: не находится ли она в непримиримом противоречии с каноническими правилами, преданиями вселенской церкви, идущими от времен апостольских, и, наконец, с глубочайшею, богооткровенною сущностью самого учения Христова? Ибо Господь учил: „Воздавайте кесарево кесарю, а Божие Богу“. Основной же статьей русского законодательства не воздано ли не только кесарево кесарю, но и Божие не Богу, а кесарю? Впервые русской церковью открыто поставлен вопрос: насколько православно самодержавие не в своей идеальной возможности, а в своей реальной исторической действительности?

Требования конституции, ограничения верховной власти и вся вообще рациональная критика существующего строя, будучи главным стимулом освободительного движения русской интеллигенции, не затрагивает самого существа общественно-политических верований народа именно потому, что *иррациональность, мистическая сверхразумность* и составляет главную силу этих верований. Но когда сама критика из рациональной становится иррациональною, сверхразумною, религиозною, то тем самым она уже перестает быть исключительно интеллигентною и становится народною. Суд человеческий становится судом Божиим. И тут впервые идея русского освободительного движения, покидая узкое русло борьбы общественных партий, выходит в океан жизни всенародной.

То, что в новом русском законодательстве высказано глухо и прикровенно, почти невразумительно (может быть, по тому естественному закону, который заставляет организм скрывать свои главные, самые жизненные центры, ибо всякое внешнее прикоснове-

ние к ним болезненно или даже убийственно для всего организма), то же самое с гораздо большею смелостью или простодушною неосторожностью выражено в словах присяги, которую, по духовному регламенту Петра Великого, должны приносить все члены св. синода.

„Исповедую же с клятвою крайнего судию духовной сей коллегии, быти самого всероссийского монарха, государя нашего всемилостивейшего“.

Глава церкви — Христос. Он же и Верховный „Крайний Судия“ в суде церкви над миром, и не может быть иного судии, ибо Христос один есть Царь царствующих и Господь господствующих. Дабы признание Крайним Судиею в делах церкви не одного Христа, но и российского самодержца не было явным отречением от Христа, необходимо признать, что существует абсолютное, адекватное, *непогрешимое* для всех возможных, настоящих, прошлых и будущих случаев соглашение воли Христовой с волей российского самодержца. Требование абсолютной *непогрешимости* воли человеческой как воли Божеской, тут есть нечто не только диалектически, но и догматически неизбежное. Становясь крайним судиею св. синода, то есть постоянного церковного собора, этого единственного, после отмены патриаршества, живого органа внутренней и внешней жизни церкви, российский самодержец тем самым принимает на себя бо́льшую власть духовную, нежели та, которою когдалибо обладали патриархи вселенские, по крайней мере церкви восточной, ибо ни один из них не противополагал себя *догматически* как единичного и непогрешимого судию — церковному собору, коего действия, в последней инстанции своей, совершаются или должны бы совершаться „изволением Духа Св.“ (известная формула: *изволися Духу Св. и нам*). Российский самодержец становится верховным пастырем, первосвященником, видимым главою церкви, наместником Главы Невидимого, самого Христа.

Мы знаем, к чему привела римско-католическую церковь идея наместничества, сообщаемого Христом единодержавному первосвященнику — папе, и неразрывно связанная с этим наместничеством догматическая идея о папской непогрешимости. Я далек от взгляда крайнего протестантства и крайнего пра-

вославия (и тут, как везде, крайности сходятся), по которому римская церковь есть царство Антихриста, царство Зверя. Но каков бы ни был окончательный, еще не произнесенный суд Господень над этою церковью, нельзя уже и теперь не признать, что древнее, идущее от времен апостольских начало соборное в ней подавлено новым началом единодержавия папского (синтез этих двух начал не найден ни Востоком, ни Западом) и что римский первосвященник, делаясь наместником Христовым, слишком часто подвергался опасности *стать на место Христа*, заменить, подменить и, наконец, упразднить собою Христа. Приходя в мир как бы во имя Христово, а на самом деле „во имя свое" (*Другой придет во имя свое — его примете*), принимая, вместо меча Христова, меч кесаря и сам становясь кесарем в древнеримском смысле (средневековая идея цезарепапизма), римский первосвященник тем самым искушается вторым искушением диавола: *Ежели падши поклонишься мне, то я дам Тебе все царства мира и всю славу их, ибо она принадлежит мне, и я, кому хочу, даю ее.* Не может быть никакого сомнения, что если бы окончательно совершилось (уповаем, что не совершится, и молимся о том) такое поклонение церкви Петра „князю мира сего", то Господь сказал бы ей то же, что самому Петру апостолу: *отойди от меня, сатана.* Во всяком случае, тут римская церковь приближается к одному из трех величайших всемирно-исторических искушений христианства: к подмене идеала богочеловечества идеалом человекобóжества.

И ежели доныне нельзя сказать с полною уверенностью о подлинной благодатной церкви верховных апостолов Петра и Павла, что она преодолела это искушение, то можно ли сказать то же с большею уверенностью о русской самодержавной власти? Ведь там, в Риме, борьба совершалась при полном свете религиозного сознания; тогда когда здесь, в России, это сознание почти отсутствует, и первосвященство русских царей (без принятия же этого первосвященства, повторяю и настаиваю, присяга царю как Судье Крайнему в управлении церковью есть отречение от Христа) глубоко скрыто под всевозможными мирскими наслоениями государственного строя и выявлено как догматическая необходимость только в одной

точке, именно в точке соприкосновения русской верховной власти с русскою церковью.

Сознавал ли сам Петр, какую страшную ответственность брал на себя и возлагал на своих преемников этим подчинением соборного начала церкви началу единодержавному, воплощенному в российском самодержце? Если не сознавал, то, кажется, предчувствовал. Вот что рассказывает один из современников, Андрей Нартов. Люди, хорошо знакомые с личностью Петра, согласятся, что этот бесхитростный рассказ, только по внешней форме анекдотический, обладает всеми чертами исторического подлинника.

„Его императорское величество, присутствуя в собрании с архиереями, приметив некоторых усильное желание к избранию патриарха, о чем неоднократно от духовенства предлагаемо было, вынув одною рукою из кармана к такому случаю приготовленный Духовный Регламент и отдав, сказал им грозно: „Вы просите патриарха, вот вам духовный патриарх, а противомыслящим сему (выдернув рукою из ножен кортик и ударя оным по столу) вот булатный патриарх!“ Потом, встав, пошел вон. После сего оставлено прошение о избрании патриарха и учрежден святейший синод“.

Петр, по выражению того же Нартова, „*сам стал главою церкви*“ и некогда, рассказывая о распрях патриарха Никона с царем, родителем своим, Алексеем Михайловичем, говорил: „Пора обуздать не принадлежащую власть старцам (то есть архиереям); Богу изволившу исправлять мне гражданство и духовенство, *я им обое — государь и патриарх*; они забыли, в самой древности сие было совокупно“.

Тут является соблазн, которому, кажется, подпал Достоевский и не он один; а именно, из посылки: русская церковь в параличе *с* Петра Великого — сделать вывод: русская церковь в параличе *от* Петра Великого; Петр главный и даже единственный виновник этого паралича; учреждением св. синода и отменой патриаршества Петр нанес или желал нанести церкви как живому телу, отдельному от государства, смертельный удар.

Такое обвинение Петра было бы величайшею исторической несправедливостью.

Петр был только орудием тех высших сил, которые, по слову Господа, всякое дерево, не приносящее плода, срубают. Петр срубил сухую смоковницу; и не потому она засохла, что он ее срубил, а наоборот, потому он ее срубил, дано ему было срубить ее, что она уже засохла и, не принося плодов, только занимала место, на котором должно было вырасти новое дерево. Тут под срубленным деревом я разумею, конечно, не внутреннюю благодатную жизнь церкви (вечные дары Духа Св., хранимые в святости отдельных лиц, в догматах, преданиях, священстве и таинстве), а лишь внешний, временный отпрыск церкви в ее отношении к верховной государственной власти старой Московской Руси. Петр в этом смысле ничего не сделал с церковью; он только подвел итог тому, что было сделано до него и помимо него, только выявил внутренний болезненный процесс, который совершался в самой церкви и который привел ее к состоянию паралича. Петр увидел этот паралич, сказавшийся при первой необходимости нового великого движения церкви по тому пути, по которому Петр двинул государство; он остановиться не мог, не мог и покинуть церкви; он повел за собою параличного, а для того, чтобы вести, устроил помочи, „препоясание", учредил св. синод. Сущность же этого многовекового, болезненного процесса *внутри самой церкви* заключается в подавлении начала соборного, всенародного, земского, началом церковного абсолютизма, единодержавия, патриаршества. Окончательное торжество централизующей власти над свободою, единодержавия над соборностью, торжество, которое выразилось в лице патриарха Никона, грозило привести церковь восточную к тому же, к чему и западную — ко второму искушению диавола, к поклонению князю мира сего из-за обладания царством от мира сего, к подмене меча Христова мечом кесаря, не к святому соединению, а к нечестивому смешению духовного и светского, небесного и земного. Идея патриаршества, идея единодержавного первосвященства, доведенная до своих последних пределов, обнаружила скрытую в ней идею наместничества Христова (видимый глава церкви — первосвященник сперва замещает, потом заменяет и, наконец, упраздняет собою Христа), то есть самую опасную и соблазни-

тельную идею Римского папства. Никон, русский папа, пожелал сделаться и русским кесарем, по выражению Духовного Регламента, „вторым Государем, самодержавцу равносильным, или и больше его“, не только в духовных, но и в мирских делах; пожелал соединить, но сумел только смешать в кощунственном смешении оба царства — от мира и не от мира сего. И отнюдь не булатный кортик Петра, а тишайшее слово Тишайшего царя Алексея Михайловича, низвергнув Никона, решило дальнейшие судьбы церкви. Петр только завершил дело, которое начал отец его, православнейший и благочестивейший из царей московских. Отменяя патриаршество, Обновитель России не нарушил, а исполнил заветы старины московской и, может быть, сам того не сознавая и не желая, спас русскую церковь от величайшей опасности, которая ей угрожала со стороны ложно понятой религиозной культуры латинского Запада, от повторения в России, и притом куцего, опошленного, обезображенного повторения средневековых идей *цезарепапизма*, то есть непотребного антихристова смешения кесарева с Божьим, человекобожеского с Богочеловеческим.

Это лишь отрицательная правда дела или, вернее, „неделания“ Петра относительно церкви. Но есть за ним и великая правда положительная.

Приобщение России к западноевропейской и ко всемирной культуре в тот исторический миг, в который выступил Петр со своею реформою, имело неисчислимое значение не только историческое, государственное, общественное, культурное, но и *религиозное*. Ежели последняя цель христианства — дело не одного личного спасения, но и спасения всеобщего, всечеловеческого, которое достигается в процессе всемирной истории, то нельзя не признать, что последний христианский идеал *Богочеловечества* достижим только через идеал *всечеловечества*, то есть идеал вселенского, все народы объединяющего просвещения, вселенской культуры. Оставаясь же в замкнутом круге своей национальной культуры, ни один народ не может исполнить своего высшего христианского предназначения, не может войти в этот синтетический, всеобъединяющий, вселенский процесс Богочеловечества. Разрывая круг москов-

ской национальной замкнутости, который грозил сделаться для своей же национальной культуры мертвою петлею, и вовлекая Россию в Европу, в культуру вселенскую, Петр тем самым приближал возможность участия России во всемирно-историческом процессе Богочеловечества. И в этом смысле дело Петра не только дело религиозное, но и святое подлинною *христианскою* святостью. Просвещая Россию светом вселенской культуры, он в то же время просвещал ее или, по крайней мере, готовил к просвещению светом Христовым, который ведь идет не только от первого, прошлого, но и от грядущего, второго пришествия Господа — „в силе и славе". До Петра задача вселенского просвещения всецело лежала на церкви. Но церковь не могла и не хотела принять ее на себя; дойдя в своей национальной нетерпимости до чудовищного, религиозного абсурда, церковь или, вернее, то, что тогда выдавалось за церковь, ничего не видела в западноевропейской и всемирной культуре, кроме „поганого латинства" и еще более „поганого люторства", и считала почти все народы, исключая Россию, от Христа отступившими, так что для людей „древлего благочестия", наиболее последовательно державшихся ежели не мертвой буквы, то живого духа старины церковной, западноевропейское и всемирное просвещение было действительно царством Антихриста. Петр не то что умом понял, но всем своим существом почувствовал безбожность такого взгляда на себя и на других. Перед ним стояла дилемма: отказаться или от просвещения для церкви, или от церкви (вернее, опять-таки от того, что выдавало себя за церковь) для просвещения. Он выбрал последнее, принял на себя задачу не принятую, даже не понятую церковью, задачу вселенского и, следовательно, подлинно христианского, хотя уже в новом, более, нежели историческом, *апокалипсическом* смысле, христианского просвещения России. И в этом же смысле он был истинный духовный пастырь своего народа, самим Богом избранный, „духовный патриарх", пророк и первосвященник всей новой России. И, может быть, даже его величайший религиозный подвиг заключается именно в том, что перед лицом прошлых и грядущих веков, перед лицом всей старины церковной и жившего все-таки в последних со-

кровенных глубинах этой старины, подлинного живого Христа — он согласился принять на себя страшную тень Зверя, тень Антихриста, доныне еще окончательно не снятую с лучезарного образа Петрова. Пора снять эту тень; пора сказать с бесповоротною решимостью: *дело Петрово — дело Христово*.

Нарушим ли мы или исполним дело Петра? — вот вопрос, который снова, как уже столько раз, возникает в современном освободительном движении России. Ведь, во всяком случае, нам Петра не обойти. Мы пойдем не иначе, как *от него*. Но куда? Вперед, к будущему, или назад, к прошлому? Этот вопрос болезненно обостряется по поводу предстоящего церковного собора и его ближайшей задачи, восстановления патриаршества в полноте его допетровского значения. Возможно ли или невозможно такое восстановление, одна уже мысль о нем ставит вопрос не только над церковной реформой, но и надо всем остальным, неразрывно с нею связанным делом Петра, над вечным, религиозным, христианским значением этого дела. В сущности, на предстоящем церковном соборе будут говорить, даже не называя Петра по имени, о нем, о нем одном. Отдаленнейшая метафизическая и ближайшая реальная задача собора — осудить или оправдать реформу Петра в связи с возможным религиозным смыслом всего освободительного движения России. И, конечно, на этом суде, кто не будет за Петра, тот будет против него, ибо, повторяю, обойти его нельзя.

II

„Наш суд не по плоти и крови, а по духу“,— ответила церковь Петру, когда единственный раз в жизни он обратился к ней за помощью по страшному делу царевича Алексея. Он должен был казнить сына, плоть и кровь свою, чтобы спасти Россию. В последнюю минуту, ужаснувшись и усомнившись в правоте своей, он хотел найти в церкви божественную опору для своей человеческой совести, хотел услышать голос ее и готов был его послушаться. И вот что она ему ответила: „Это не наше дело, наш суд не по плоти и крови, а по духу“. Все преобразования Петра

были делом не только живого духа, но и живой плоти и крови. Брезгая ими как недостаточно чистыми, несовместимыми с духовною, то есть по глубочайшей метафизике всего исторического христианства, *бесплотною и бескровною святостью*, церковь, естественно, не могла участвовать в деле Петра, деле всей новой России. Готовый вспыхнуть в старом московском православии пожар изуверского национализма и вражды ко всему еретическому, „антихристову" Западу потушен был Петром; но искры пожара тлели и, кажется, доныне тлеют под пеплом старины церковной. Все последующее двухсотлетнее положение церкви относительно европейской и всемирной культуры оправдало Петра, который не ждал себе с этой стороны никакой помощи. Активное сопротивление этой культуре было сломлено в церкви, но сила инерции, сила почти беспредельной косности осталась нетронутой. Церковь шла, куда ее вели, вернее, влеклась, куда ее влекли, принимала все, что ей давали,— изменяя при этом своей глубочайшей метафизике; оставаясь же ей верною, должна бы отвергнуть все; но в том и в другом случае не могла найти меча достаточно острого, чтобы не только отвергнуть, *отсечь*, но и *рассечь* эту идущую к ней всемирную культуру; не могла найти мерила, достаточно ясного, чтобы отделить в ней пшеницу от плевел, святое от грешного. И вся новая Россия, поскольку приближалась ко вселенскому просвещению, уходила от церкви; и церковь, поскольку исполняла подлинные заветы своей подлинной святости, уходила от новой России. Нельзя и доныне предвидеть конца этому взаимному расхождению.

Какова теория, такова и практика. Культурной косности церкви соответствовала косность общественно-политическая. Реформа петровская была лишь началом предстоявшего великого обновления России; и после Петра оставалось в ней много пережитков старины допетровской; самым чудовищным из них было крепостное право. Русская интеллигенция, в течение долгого времени встречая в этом отношении со стороны русской государственной власти прямое гонение, как сила революционная вступила в самоотверженную, поистине героическую борьбу с крепостным правом, борьбу, которая имела огромный,

не только общественно-политический, нравственный, культурный, но и религиозный смысл. И вот церковь оставалась пассивною зрительницей этой борьбы, можно сказать, пальцем не двинула, чтобы помочь русской интеллигенции. Когда камни вопияли, церковь безмолвствовала, только учила господ кротости, рабов терпению. И если бы освобождение крестьян зависело исключительно от церкви, то крепостное право существовало бы, вероятно, и доныне. Мало того, устами своего великого нового святителя, Серафима Саровского, церковь произнесла анафему над тем освободительным движением первой четверти XIX века, из которого вышли реформы 60-х годов, естественное продолжение петровских реформ. Серафим Саровский, как рассказывает один из его ближайших учеников, по поводу кровавого исхода Декабрьского бунта, открытого ему будто бы в видении, „скача и пляша от избытка духовного веселия", объявил императора Николая I истинным христианином, а декабристов — извергами, исчадиями ада, сынами дьявола. И вот, однако, эти сыны дьявола, эта „безбожная" интеллигенция совершила дело Божье, дело Христово — освобождение крестьян — без церкви, помимо церкви и даже, в значительной мере, против церкви. И только тогда, когда уже дело было сделано, церковь благословила его. Сперва прокляла, а потом благословила — не прокляла ли от всего сердца, не благословила ли концом уст? И ныне „почти святой" о. Иоанн Кронштадтский, как некогда Серафим Саровский, произносит анафему над современным освободительным движением России. Как же нам не бояться, чтобы и на церковном соборе, когда церковь будет судить это дело не только нашего духа, но и нашей плоти и крови, дело предстоящего великого и уже окончательного освобождения России, необходимое завершение дела Петрова — дела Христова, как же нам не бояться, чтобы на этом суде церковь не сказала и нам, русским образованным людям, единственным законным наследникам живого духа петровских преобразований, того же, что она сказала самому Петру: *наш суд не по плоти и не по крови, а по духу.*

Положение, занятое церковью относительно новой культурной России, оправдало дело Петра отрица-

тельно. Но положение, занятое русскою самодержавною властью относительно той же культурной России, не дало этому делу того оправдания положительного, которого следовало ожидать по самому смыслу петровских реформ.

Главная слабость Петра, источник всех его ошибок, заключалась в том, что он в своем сознании не умел отделить себя как „патриарха духовного“ от себя же как „патриарха булатного“, свое первосвященство христианское от своего первосвященства языческого. Ведь в древнем языческом Риме кесарь был тоже первосвященник — *Pontifex Maximus*, хотя, разумеется, в ином смысле, диаметрально противоположном смыслу первосвященства христианского, именно в смысле человекобожеском, а не Богочеловеческом (*Divus Caesar*, Кесарь Божественный, Кесарь-Бог, Человек-Бог). Если не во внутреннем содержании, то во внешних формах всего, что делал Петр, преобладает стиль древнеримский, языческий, стиль Imperium Romanum *. Сознанию Петра самодержавие представлялось все-таки делом мирским, рациональным и позитивным, царством от мира сего, навеки противоположным царству не от мира сего, царству Христову. И ежели для его гениальных, пророческих, поистине христианских, но не *исторически*, а уже *апокалипсически* христианских прозрений оба царства были соединены последним святым соединением, то он все-таки не мог бы оправдать своим религиозным сознанием этих еще слишком ранних и темных прозрений своих. Чувствовал только, что прав, но сам не знал и не сумел бы сказать, почему прав. Будучи, по крайней мере, в главной своей деятельности, в приобщении России к вселенской культуре, истинным „духовным патриархом“, он слишком часто казался себе и другим — патриархом „булатным“, только „булатным“, только мирским царем мирского царства.

Необходимая религиозная задача преемников Петра заключалась в том, чтобы раскрыть в сознании это бессознательное христианское содержание петровских реформ. Но задача эта оказалась для русского самодержавия непосильною. Оно не испол-

* Римской империи *(лат.)*.

нило ее и даже совершило нечто обратное, может быть, непоправимое; не преобразило „булатного патриарха“ в „духовного“, а напротив — „духовного“ превратило в „булатного“. Постепенно утрачивая свое религиозное содержание, русская государственность сделалась, наконец, исключительно рациональною, позитивною в самом плоском смысле этого слова, окончательно, по выражению старообрядцев, „обмирщилась“, обезбожилась. В подлинном деле Петровом, деле Христовом ничего не приумножила, а все или почти все потеряла. Ежели Петр для острастки „длинных бород, попов да старцев“ повесил над церковью свой булатный кортик как Дамоклов меч, то после Петра церковь дошла до такого состояния паралича, что для нее оказался достаточным уже не меч булатный, а меч бумажный, в виде обер-прокуратуры св. синода. Булатный же меч направлен был, по жестокой иронии судьбы, против единственной, повторяю, живой носительницы живого духа петровских реформ — русской интеллигенции. Она одна шла по пути, указанному Петром,— по пути западноевропейского и всемирного просвещения. В области общественно-политической это неизбежный путь от *власти к свободе*. Тогда как русская государственность шла обратным путем, от *власти не к свободе, а к произволу*. И вместо живого духа Петра осталась в русской государственности лишь мертвая буква, мертвая казенщина, в которой нет уже никакого идеала ни человекобожеского, ни богочеловеческого, а есть лишь отрицание всех вообще религиозных идеалов, почти циническое безбожие, нигилизм современного русского самодержавия. Тут древнеримский стиль Петра сохранен не более, чем в стиле аракчеевских казарм.

Если бы русская церковь могла выйти из паралича относительно русского самодержавия, то тотчас же предстала бы перед нею задача найти утраченный религиозный смысл русской государственности, раскрыть *новое* учение о власти в смысле христианском, то есть о переходе от власти к свободе, от меча железного к мечу духовному, о преображении государства в церковь. Я называю это учение новым, потому что доныне во всемирной истории христианства все учение о власти сводилось к известным

словам апостола Павла, понятым в самом грубом, кощунственном смысле, тоже в древнеримском, казенном стиле аракчеевских казарм: *Всяка душа властем предержащим да повинуется. Несть бо власть аще не от Бога.* Но таким пониманием в настоящее время не удовлетворяется не только maximum, но и minimum религиозных требований, бессознательно живущих даже в русской, так называемой атеистической, интеллигенции.

Тут возникает вопрос: может ли вообще церковь исполнить эту задачу, оставаясь верной своей исконной метафизике: бесплотная и бескровная духовность как начало святости, плотскость и кровность как начало греха — „наш суд не по плоти и крови, а по духу“?

Кажется, перед собранием пастырей, когда они составляли свою записку об отношении самодержавной власти к церкви, не возникал вовсе этот вопрос. Дело представлялось очень и даже слишком простым. Стоит будто бы восстановить первоначальную „каноническую свободу“ церкви для того, чтобы вывести ее из состояния паралича, причем предполагается несомненным, что этот паралич зависит от порабощения церкви государству. Но, может быть, как раз наоборот: не паралич от порабощения, а порабощение от паралича.

История русской церкви есть только сокращенное повторение истории церкви византийской. Но ведь и там, в Византии, в эпоху величайшего горения и сияния религиозной жизни, каноническая свобода церкви ничуть не охранила ее от порабощения государству. Мы знаем, до какого беспредельного, рабского, хамского унижения перед властью византийских императоров дошла, конечно, не истинная церковь Христова, а то, что скрывалось под ее личиной, но скрывалось с таким искусством, что лица от личины отделить почти невозможно. Ежели каноны, постановления вселенских соборов, правила святых отцов оказались недостаточными для ограждения свободы церкви от государства во времена таких лучезарных светильников православия, как Афанасий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, то есть ли какое-либо основание думать, что те же средства окажутся достаточными для той же цели среди

современного, почти безнадежного угасания религиозной жизни? *Паралич идет оттуда, из Византии.* То, что началось во Втором Риме, Константинополе, продолжалось в Москве, Третьем Риме, и завершается в Петербурге, в этом, довольно, впрочем, сомнительном, Четвертом Риме. То, что было тогда, будет и теперь, будет всегда, пока не изменится нечто лежащее глубже, чем всемирно-исторические судьбы православной церкви. Кажется, вообще весь вопрос об ее параличе, об ее вековом бездейственном отношении к общественно-политической жизни мира решается вовсе не на той плоскости, на которую поставлен в записке пастырей, а на неизмеримо большей глубине метафизики, заложенной в самую основу всего исторического христианства.

III

Да будет воля Твоя на земле, как на небе. То, что воля Отца совершается на небе, было понято и принято историческим христианством с бесконечной глубиной и ясностью религиозного сознания. Но что воля Отца должна совершаться не только на небе, но и на земле — *на земле, как на небе*,— это хотя тоже было принято, но не понято и осталось в течение двух тысячелетий исторического христианства, остается и доныне только одним из темных, сокровенных, апокалипсических чаяний, связанных со вторым пришествием Господа — явлением трансцендентного мира, равным по своему значению пришествию первому, воплощению Бога-Слова. Доныне раскрыта в церкви вселенской, как восточной, так и западной, одна лишь сторона учения Христова — правда о духе, о небе, о нисхождении небесного к земному, о загробной жизни, о личном спасении. Но все это именно только *одна сторона*, одна половина единого целого — благой вести Сына о том, что воля Отца „будет на земле, как на небе". Отныне должна раскрыться и другая сторона, другая половина этого единого целого, и притом так, чтобы обе половины снова соединились, как они уже раз были соединены в Божественной Личности Христа, ибо Христос Пришедший и Христос Грядущий — *один и тот же Христос.*

Отныне должна раскрыться во всемирной истории или, вернее, в конце всемирной истории Церкви вселенской и всего человечества правда не только о духе, но и о плоти, правда не только о небе, но и о земле, не только о нисхождении небесного к земному, но и о восхождении земного к небесному, не только о загробной, но и о здешней жизни, не только о личном, но и о всеобщем, *всечеловеческом* спасении, которое совершается в процессе *богочеловеческом* на всем протяжении всемирной истории и окончательно совершится в конце этой истории, имеющем совпасть с концом процесса космического, с тем, что для верующих в непреложную истину Откровения есть *конец мира*. Отныне должно открыться Откровение Иоанново, которое доселе, хотя и называлось Откровением, на самом деле оставалось для всего исторического христианства книгою „закрытою", запечатанною семью печатями. Отныне должно исполниться явно перед лицом всего мира хилиастическое пророчество Апокалипсиса о „тысячелетнем царствии святых на земле", которое с несомненною точностью предсказано *до конца мира*, то есть еще при теперешнем физическом порядке космоса; должно исполниться пророчество о некоторой всемирной *теократии*, упраздняющей, как уже ненужные и отжившие, все исторические формы государственности, все мирские власти, законы, царства, начальства; пророчество о Новом Граде Божием, в котором не будет ни царя, ни первосвященника, ибо там все — цари и священники, а единый Царь царей и Первосвященник — сам Господь.

Эти великие вопросы, поставленные церкви современным освободительным движением и всею общественно-политическою жизнью России, жизнью, которая, может быть, явится синтезом общественно-политической жизни всего европейского мира (ибо недаром в исторической преемственности европейских культур именно Россия — последний, крайний, предельный и, следовательно, по всей вероятности, объединяющий все остальные культуры, преимущественно синтетический народ), все эти вопросы на предстоящем церковном соборе могут быть решены только в свете нового апокалипсического христианства, в свете, идущем не от одного первого, но и от

второго пришествия, причем, разумеется, эти оба света суть единый свет единого Лика Христова. Всякие же попытки решить эти вопросы при свете исторического, *только исторического* христианства и заложенной в него метафизики бесплотного духа, безземного неба, безмирного гроба, безобщественного спасения ни к чему не приведут, кроме неудач и провалов, еще гораздо больших, нежели те, коих человечество было свидетелем в течение двухтысячелетней истории вселенской церкви.

Все, что я здесь утверждаю,— не смутная догадка, не дерзновенное пророчество, а самое точное знание, основанное на самом точном всемирно-историческом опыте: по тому, что было и есть, сужу о том, что будет.

Истинная свобода церкви Христовой относительно всякой мирской власти, всего же более относительно кесаря, самодержца в древнеримском смысле, который требует себе не только „кесарева", но и „Божьего" и который тем самым ставит себя, человека, на место Божье,— такая свобода церкви утверждена не на каких-либо писаных канонах или правилах, а на крови мучеников. И оставаясь в кругу исторического христианства, церковному собору должно помышлять о возврате не к „свободе канонической", все-таки слишком внешней, производной, а к внутренней, первоначальной свободе мученической. Исповедание этой свободы, некогда записанное на скрижалях церкви кровью и ныне уже почти стершееся, следует восстановлять не чернилами, а тоже кровью, новою кровью новых мучеников, исповедников Царя-Христа пред лицом Царя-Зверя. Но если бы и нашлись такие новые мученики, если бы и смогли они восстановить древнюю свободу церкви во всей ее полноте, то эта свобода была бы и теперь по существу своему такою же, как тогда, в первые века христианства, свободою пассивною, страдательною, а не активною, творческой — относительно государства и всей общественно-политической жизни мира. В самом деле, мученики своей смертью отрицали весь древний языческий Рим, ветхий град и утверждали Новый Град, Новый Иерусалим, сходящий с неба; но никаких земных путей, никакого всемирно-исторического процесса от ветхого Рима к Новому Иерусали-

му не видели. Между этими двумя Градами был мгновенный и бездонный общественно-политический провал, связанный с провалом мировым, космическим; был конец Рима — конец мира. Все безгранично свободное, но и безгранично страдательное отношение подлинного мученического христианства к языческому, да и ко всякому вообще возможному на земле государству слагалось под этим *эсхатологическим* углом зрения. Эсхатологией пронизана вся политика, метафизика, психология и даже, можно сказать, физиология христианских мучеников. „Скоро всему конец, конец при дверях",— не столько мысль о конце, сколько ощущение конца было у них в каждом трепете нервов, в каждом биении сердца. Великая правда и великая неправда или, вернее, неполнота была в этом неимоверно и для нас уже почти непонятно стремительном, эсхатологическом самочувствии первых веков христианства. Правда — в том, что с вершины исторического христианства увидели они впервые на горизонте всемирной истории не какой-либо воображаемый, а действительный конец, тот же самый, который и мы теперь, восходя на противоположную вершину христианства апокалипсического, снова начинаем видеть, приближенные к этому концу на два тысячелетия, на два мига неведомых времен, отделяющих Первое пришествие от Второго. Неправда или, опять-таки вернее, неполнота — в том, что они не понимали необходимости и желанности того медленного всемирно-исторического процесса, который ведет от Первого пришествия ко Второму, от Богочеловека через всечеловечество (вселенскую культуру) к Богочеловечеству. Для них правда о вечности заслонила правду о времени, правда о духе — правду о плоти, правда о небе — правду о земле, правда о личном спасении — правду о спасении общественном, правда о Богочеловеке — правду о Богочеловечестве. Мучеников, которых не ужасали никакие орудия пытки, ужаснул бы элементарный учебник церковной истории. Эти два тысячелетия показались бы им отречением христианства от Христа. И тут мы, грешные, слабые, правее праведных, сильнее сильных, разумеется, не нашею личною праведностью и силою. Нас никакими учебниками не запугаешь; для нас уже все самые черные

и длинные тени всемирной истории сокращаются, бегут назад перед светом восходящего солнца, Грядущего Господа.

И вот, когда наступил конец Рима, а конец мира не наступил, когда вместо конца началось продолжение всемирной истории после Христа, когда предстояло не только страдать и умирать, но и жить и действовать в новом Риме христианском, устанавливать действенные отношения к новому государству и ко всей общественно-политической жизни мира, тогда в глубочайшей метафизике исторического христианства произошло глубочайшее потрясение; тогда первоначальное единство этой метафизики дало трещину и раскололось пополам. Внешнее выражение этого внутреннего раскола есть деление церкви на „мир“ и монашество.

Монашеством заменилось мученичество. В эсхатологическом самочувствии мучеников был некоторый общественный, хотя бы только пассивно и отрицательно общественный, момент: мученики входили в Рим, в мир, как провозвестники конца Рима, конца мира. Монашество, заменяя чувство мирового конца чувством конца личного, личной смерти, одинокого спасения или одинокой погибели, тем самым порывало эту последнюю пассивную и отрицательную связь христианства с общественно-политической жизнью мира; монашество, пустынножительство в своей чистой метафизике есть ухождение от мира к Богу; чем дальше от мира, тем ближе к Богу; чем ближе к Богу, тем дальше от мира; плоть, мир, бытие — отрицание Бога; Бог — отрицание плоти, мира, бытия; Бог — бесплотный и безмирный Дух, чистое Небытие; на место Бога, который говорит: Я есмь Сущий,— становится *другой Бог*, который говорит: Я есмь Не-сущий. Вот последний предел монашеской, уже не столько христианской, сколько буддийской метафизики, предел никогда, впрочем, не достигнутый и не выявленный в *сознании* исторического христианства; это только уклон бессознательный и хотя бездонно-глубокий, но почти незримый, нечувствительный, потому что угол его бесконечно мал, а радиус безконечно велик. Оставаясь на плоскости исторического христианства, невозможно заметить этот уклон; явным же становится он только по срав-

нению плоскости исторического христианства с иными горизонтами, которые открываются с высшей плоскости нового христианства, апокалипсического. Куда ведет принятое монашеской метафизикой последнее раздвоение плоти и духа, земли и неба, мира и Бога, становится понятным только для тех, кто принимает последнее соединение этих двух начал, как равно-святых, равно-божественных, последнее соединение двух Ипостасей, Отчей и Сыновней, в Третьей Ипостаси Духа Св., последнее соединение Царства Отца, Ветхого Завета с Царством Сына, Новым Заветом — в Царстве Духа, в Грядущем и Вечном завете. Только религия Троицы (не как отвлеченного догмата, а как действенного, совершаемого откровения), только *религия Трех, которые суть Едино*, может разрешить и преодолеть страшную метафизическую антиномию двойственности, заключенную в религии одной Второй Ипостаси, не соединенной с Первой и Третьей,— *в христианстве, только христианстве.*

То же, что в метафизике церкви — отделение души от тела,— произошло и в истории церкви: душа ее отлетела от мира в пустыню, в монашество, а в миру осталось тело, в которое могла вселиться какая угодно душа, осталась личина, за которою могло скрыться какое угодно лицо. В точке наибольшего соприкосновения христианства с миром — в отношении церкви к государству, к политике, к новому, христианскому по имени, а на деле все еще языческому, древнему Риму, то есть именно там, где требовалась наибольшая активность,— проявилась наибольшая пассивность исторического христианства. Тут-то и начался „паралич церкви". Между тем как истинное монашество все дальше и дальше уходило от общественно-политической жизни мира в свою Фиваиду, в новый Град Божий, Небесный Иерусалим,— ветхим земным градом, государством управляло мнимое, волчье под овечьей шкурой, мирское монашество, государственно-церковное чиновничество, пронырливое иезуитство, кровожадное инквизиторство, властолюбивое папство, раболепное патриаршество. В тело церкви вселилась *другая* душа, за личиною церкви скрылось *другое* лицо. Между тем как истинное монашество все более и более подчиняло плотское

духовному, земное небесному, мирское Божьему,— монашество ложное в делах церковной политики шло обратным путем — подчиняло духовное плотскому, небесное земному, Божье мирскому. Невозможность святого соединения привела к неизбежности кощунственного смешения. Между царством от мира и царством не от мира сего, между государством и церковью установился прелюбодейный союз. Церковь искушалась государством: *Ежели падши поклонишься мне, я дам тебе все царства мира.* Государство искушалось Церковью: *Сим победиши*, то есть победишь Крестом Господним. Но кого? Врага государства, бунтовщика Максенция, или врага Христова, диавола? Это осталось неясным для Константина Великого и для всего исторического христианства — новой государственной римской религии, коей торжество недаром совпало с торжеством римского императора над врагами римской империи. И доныне, когда церковь молится „о низложении всех врагов и супостатов под нози его“, то есть под ноги христианского кесаря — небесное знаменье: крест, меч Христа кощунственно смешивается с мечом древнеримского кесаря, церковь становится орудием государства, „пальцем от ноги“ железного колосса, одним из рычагов бюрократической машины, *Homo Artificialis, Искусственного Человека*, по выражению Гоббса, великого Автомата, Иконы Зверя. И не было во всемирной истории такого обмена, такого насилия, такого порабощения народов, такой политической мерзости и политического ужаса, которые не благословлялись бы этим небесным знамением: *Сим победиши,*— которые не совершались бы под покровом церкви во имя Христа. В жизни человечества повторялась жизнь Сына Человеческого: второе предательство, второй суд при дворе первосвященника Каиафы, второе осуждение Пилатом, второе оплевание, избиение, увенчание терновым венцом, облачение в багряницу, второй путь крестный, второе распятие. Ныне совершается и второе погребение Господа. Чаем же и второго воскресения Богочеловека в Богочеловечестве.

И всего страшнее то, что это всемирно-историческое отступление христианства от Христа в общественно-политической жизни мира происходило в совершенной слепоте, *вне сознания* церкви. Церковь

не видела и доселе не видит, куда она идет, куда ее ведет *Другой*. Отрекаясь в своем сознании от всякой политики, она бессознательно поддерживала худшую из всех политик, политику вечной косности, вечного рабства, политику Князя мира сего, „Грядущего Хама“, который хочет скрыть лицо свое под личиною Грядущего Господа.

Так было, есть и будет, пока историческое христианство не сделается апокалипсическим, пока оно не перейдет от метафизики раздвоения к метафизике соединения, от религии Двух, которые никогда не будут Едино, к религии Трех, которые суть Едино.

На предстоящем соборе русская церковь найдет ли в себе силу разрешить этот вопрос об отношении христианства к общественности, раскрыть нераскрытую двумя тысячелетиями церковной истории апокалипсическую правду о земле, о плоти, о спасении общественном, о Богочеловеке в Богочеловечестве? Есть ли вообще в русской церкви и во всем историческом христианстве какая-либо возможность для такого перехода к христианству апокалипсическому?

Утверждаю с полным сознанием великой трудности и ответственности такого утверждения:

Да, есть.

Но для того, чтобы эта возможность осуществилась, необходимо, чтобы русская церковь, сознательно порвав связь с отжившими формами русской самодержавной государственности, вступила в союз с русским народом и с русской интеллигенцией и приняла активное участие в борьбе за великое общественно-политическое обновление и освобождение России.

Русский народ самый атеистический из всех народов,— утверждал Белинский. Русский народ самый мистический из всех народов,— утверждал Достоевский. Кто из них прав? Или, может быть, оба правы? Может быть, нет народа более жаждущего религии и менее утолившего эту жажду, чем русский народ. Огромное и постоянно разрастающееся движение сектантства показывает, до какой степени религиозная потребность народа не удовлетворена предлагаемым церковью содержанием исторического христианства. Все вопросы, которые ставятся сектантством — пусть неправильно, невежественно, грубо,

дико — проблема пола в хлыстовстве и скопчестве, проблема духа и плоти в духоборчестве, проблема общественности, осуждения мирской безбожной власти, насилия военного и государственного в штундизме,— суть подлинные вопросы, имеющие подлинное отношение к самой глубокой метафизике исторического христианства и разрешимые только в иной высшей плоскости христианства апокалипсического. Всего замечательнее то, что сектантство началось в старообрядчестве. Именно там, где народ остался наиболее верен своей старине церковной, он и почувствовал наибольшую необходимость религиозного обновления. Да и самое старообрядчество — „древлее благочестие“, со своим добровольным мученичеством — самосожжениями в срубах, со своим ожиданием конца мира и второго пришествия, со своим бунтом против всей государственно-церковной жизни новой России как воплощения „духа Антихристова“ — есть небывалое во всемирной истории возрождение эсхатологического самочувствия первых веков христианства. Апокалипсис нигде никогда не был если не понят, то прочувствован так, как в русском старообрядчестве, то есть в самой темной, бессознательной, но, может быть, и самой пламенной религиозной стихии русского народа. „Русский народ весь в православии“,— это одно из наиболее парадоксальных утверждений Достоевского. Русский народ весь — не в сектантстве, не в старообрядчестве, не в православии и даже не в историческом христианстве вообще, а в живой любви к живому Христу. Русский народ верит, что Христос спасет его и никто не спасет, кроме Христа.

Беспредельное религиозное отчаяние, доходящее до страшной „нетовщины“, этого простонародного нигилизма — в настоящем, беспредельная религиозная надежда, чаяние еще невиданного на земле воплощения правды Христовой — в будущем — вот две крайности, между которыми вечно колеблется религиозная стихия русского народа. Ничего в настоящем, все в будущем. Русский народ — самый крайний, последний, близкий к пределам всемирной истории, *самый апокалипсический* из всех народов.

Формула Белинского о русском атеизме приобретает, по-видимому, гораздо большую силу в примене-

нии к русской интеллигенции. В самом деле, кажется, нигде отрицание не достигало таких крайностей, как в русском нигилизме, этой интеллигентной „нетовщине". Если судить по внешности, то почти все образованные русские люди атеисты до мозга костей. Но это именно только внешность, только лакированный европейским лаком тонкий слой нашей культуры, обращенный к Западу и отражающий этой поверхностью все лучи и тени Запада. Глубина русского атеизма — мнимая зеркальная глубина, действительная плоскость. Ежели рядом с атеизмом не существует у нас каких-то более глубоких, подземных, религиозных течений, то откуда связь декабристов, первых провозвестников современного освободительного движения с масонскими ложами, с мистическим брожением начала XIX века, откуда Гоголь в его „Переписке с друзьями", откуда Достоевский и Вл. Соловьев, откуда мы все, русские интеллигентные люди, уже окончательно и бесповоротно пришедшие, если еще не к религиозному действию, то к религиозному сознанию? Но даже, оставляя в стороне эти положительные явления, в самом отрицании, в атеизме русской интеллигенции есть одна особенность, которая делает подозрительной его бесповоротность и окончательность. *„Я верую, что Бога нет"*,— говорит один из героев Достоевского. Вера в безверие становится новою и, может быть, еще более фанатичною, чем старая, еще более пламенною верою; „нет Бога" становится новым и, может быть, еще более реальным Богом. Русский „атеизм" есть только обратная, темная и бессознательная форма русского мистицизма, может быть, демоническая, противоположная, превратная религия, но все-таки и все еще религия. „Меня всю жизнь Бог мучил, только это одно и мучило!" — признается Дмитрий Карамазов, и это признание могла бы повторить большая часть типичных русских атеистов, которые употребляют всю свою жизнь неимоверные усилия воли для того, чтобы никогда не говорить, никогда не думать о Боге. В „Бесах" нигилист Кириллов, пророк Человекобога, „оказывающий своеволие", убивающий себя, чтобы доказать людям, что нет Бога, что человек есть Бог, каждый вечер зажигает лампадку перед образом. По поводу этой лампадки другой

атеист более совершенного, но уже не русского, а западноевропейского типа, Петр Верховенский, замечает, что Кириллов „верует в Бога хуже просвирни". Правда это или неправда, во всяком случае, ясно, что одна, только одна черта, один волосок отделяет такое безверие от самой неистовой веры, вроде той, которая вела русских простонародных нигилистов, „нетовцев" на „красную смерть" в пылающих срубах. Уголек этой „красной смерти" тлеет под пеплом позитивизма почти во всех типичных русских атеистах. Не по тому, что они говорят и думают, а по тому, что они делают, видно, до какой степени, несмотря на весь свой кажущийся атеизм, они бессознательно религиозны. Есть дела, которые нельзя делать без живой веры в живого Бога: таково главное дело русской интеллигенции — борьба с мертвою самодержавною государственностью за освобождение России: в этой борьбе, именно отсюда, из „безбожной" русской интеллигенции являлись подвижники и мученики, в своем сознании — только политические, но в своих глубочайших бессознательных переживаниях — настоящие *религиозные подвижники и мученики*, горевшие такою любовью к России, к народу, к земле, что воистину нельзя об этой любви иначе сказать, чем словами Господа: *нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих*. Подобно своему духовному вождю и пророку Петру Великому, русская интеллигенция есть носительница некоторой новой, пока еще темной для большинства и только для очень немногих чуть брезжущей небывалым апокалипсическим светом, христианской правды о земле, о плоти, о просвещении вселенском, о всечеловечестве как пути к Богочеловечеству. И в своем общественно-политическом служении этой правде, служении самоотверженном до кровей мученических русская интеллигенция, не зная Христа, от Христа отрекаясь, бывала часто ближе ко Христу, чем церковь: *один сказал: пойду,— и не пошел; другой сказал: не пойду,— и пошел.*

Только поняв это и деятельно примкнув к освободительному движению России как необходимому продолжению дела Петрова — дела Христова, русская церковь могла бы соединиться с русской интеллигенцией, дабы вместе с нею внести свет нового

религиозного сознания в темную религиозную стихию русского народа; и только соединившись с народом, церковь могла бы соединить и полученную ею от исторического христианства правду о духе, о небе, о спасении личном с имеющей раскрыться в христианстве апокалипсическом правдой о плоти, о земле, о спасении общественном.

Теперь церкви нельзя больше медлить; теперь ей надо вступить бесповоротно на один из двух путей: или на старый путь пассивного бездействия, явного вольного отречения от всякой политики, тайного невольного служения политике Князя мира сего, Грядущего Хама, Царя-Зверя, или же на новый путь великого общественно-политического действия, служения всечеловеческому Грядущему Господу. Теперь церковь должна выйти из паралича своего; теперь должен расслабленный услышать слово Господа: встань, возьми постель твою и ходи.

Теперь — или никогда.

СТРАШНЫЙ СУД НАД РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ

В Исаакиевском соборе, 20 февраля 1905 г., епископ волынский Антоний произнес проповедь на тему о страшном суде и о современных событиях.

В этой проповеди почтенный архипастырь выражает свой взгляд и, по-видимому, не только свой личный, но и взгляд значительной части русской учащей церкви на современное освободительное движение в России и по этому поводу произносит суд над „представителями передовых слоев общества", то есть, в сущности, надо всем образованным русским обществом, русской интеллигенцией, произносит, так сказать, перед лицом вечности — sub specie aeterni — перед лицом Страшного Судии, грядущего судить живых и мертвых.

Суд приводит к приговору смертному, разумея „смерть вторую", вечную, от коей нет воскресения. То, на чем этот приговор основан, сводится к следующим обвинительным пунктам.

Русское образованное общество отреклось от Христа, потому что „дух смиренного самоосуждения", в коем, по мнению епископа Антония, заключается сущность христианства, „давно вытравлен из нашего общества языческим бытом, культурой еретического запада".

Русское образованное общество „ненавидит Россию" вообще и русский простой народ в частности.

Под всеми „преобразовательными толками в нашей печати", под всеми требованиями свободы слова, свободы совести, отмены административного произвола над личностью граждан скрываются только

преступные замыслы действующей революционной партии, которая желает воспользоваться свободой слова и прочими гражданскими правами для целей насильственного политического переворота. В русской печати слышатся епископу Антонию не голоса человеческой мысли и совести, а только голоса зверских инстинктов, взывающих к бунту и кровавому насилию, голодный волчий вой. „Все слои общества,— говорит он,— как голодные волки, требуют себе всяких прав и льгот".

Таковы обвинения, а вот приговор:

„Они (то есть все образованные русские люди) дышат себялюбием, ненавистью и злорадством; им чужда всякая любовь; все их поведение, все их речи есть сплошная ложь; но обманывать людей возможно лишь в продолжение недолгого времени, а вечность откроет для них их злодейское настроение". Это значит: будут осуждены на страшном суде.

Проповедь кончается воззванием к народу, не ко всему народу русскому, потому что вся та огромная часть его, которая охвачена современным освободительным движением, отсечена „аки уд гангренный", по выражению Петра, а исключительно к простому народу.

„Не забывай же о них, русский народ, берегись богохульников, кощунников, мятежников, желающих оторвать тебя от вечной жизни, от царствия Христова". Простой народ должен помнить, что враги его — все образованные русские люди. Они ненавидят Россию, замышляют погубить ее, и в случае ежели достигнут своих целей, то русский народ „будет несчастнейшим из народов, порабощенный уже не прежним суровым помещикам, но врагам всех дорогих ему устоев его тысячелетней жизни, врагам упорным и жестоким, которые кончат тем, что будут разрушать святые храмы и извергать мощи угодников Божиих, собирая их в анатомические театры". Тогда Россия „распадется на множество частей, начиная от окраины и почти до центра". Татары казанские, крымские и кавказские разорвут ее по клочкам. На помощь татарам придут „наши западные враги, бросятся, подобно коршунам", на разлагающийся труп России и „обрекут ее на положение порабощенной Индии и других западноевропейских колоний".

Каюсь, я соблазнен, может быть, не по вине епископа Антония, а по собственной духовной немощи, но все же соблазнен в высшей степени и взываю о помощи, о наставлении и утешении. Сам себя утешать я не смею тем, что эта всенародная церковная анафема, предвосхищающая страшный суд Христов над всею русской интеллигенцией, произнесена необдуманно, легкомысленно или в пылу политической страсти. Не мог же проповедник не знать, что он произносит свое слово к простому, темному, ведь, в самом деле, в значительной мере темному народу в такую минуту, когда от слова до дела и до дела кровавого с каждым мигом этой минуты расстояние неудержимо сокращается, и, может быть, теперь уже остается один только шаг. Он должен был, конечно, тысячи раз взвесить слова свои, ибо, произнося их, принимал за них ответственность не только на себя лично, но и возлагал ее на церковь, коей является он, епископ Антоний, одним из высоко стоящих светильников. Не мог он не знать, что голос его будет принят за голос, идущий, ежели не от всей церкви, то, во всяком случае, из глубины церкви.

И вот что возвещает этот голос: все образованные русские люди — злейшие „внутренние враги" русского народа. Народ под знаменьем креста проливает свою и чужую кровь в войне с врагами внешними. Спрашивается: что же, собственно, могло бы удержать его от практического вывода из теоретических посылок епископа Антония: ежели в войне с врагами внешними проливается кровь своя и чужая с благословения церкви, под знаменем креста, то почему бы с благословения той же церкви, под знаменьем того же креста не должна пролиться кровь своя и чужая в войне с врагом внутренним, несравненно более опасным, ибо там, извне, только „нехристи", а тут внутри, „антихристы", „богохульники", „кощунники", разрушающие храмы, собирающие святые мощи угодников в анатомические театры?

Ежели там, на Дальнем Востоке,— Дракон, „первый зверь", „выходящий из моря", то здесь, в России,— не „второй" ли „зверь", „выходящий из земли", из нашей собственной земли русской? И ежели крест становится мечом для брани с первым зверем, то почему бы не стать мечу крестом для брани со

вторым зверем? И не самой ли церковью влагается этот меч-крест в руки всех во Христа верующих?

Пока все это еще только легенда или даже только возможность легенды. Но, конечно, епископу Антонию не могло остаться неизвестным, что доныне простой русский народ живет в такой исторической и религиозной атмосфере, в которой подобные легенды (и даже гораздо более наивные) с поразительною легкостью возникают как чудовищные марева в грозовом, сгущенном воздухе. А что теперь воздух в России сгущен чрезмерно, в этом, кажется, не может быть никакого сомнения. Да, наконец, если, по мнению епископа Антония (может быть, весьма неосновательному), апокалипсические пророчества о двух зверях, об антихристе и втором пришествии для всех образованных русских людей — только суеверная легенда первых веков христианства, то для самого проповедника, так же как для его слушателей из простого народа (а таковых большинство), это отнюдь не легенда, а несомненное пророчество, исполнения коего сроки приближаются и, видимо, уже приблизились, уже „при дверях“, недаром же сам проповедник счел пристойным по поводу современных политических событий взывать ко Христу, грядущему судить живых и мертвых.

Итак, едва ли я преувеличиваю, утверждая, что в простодушных умах, по крайней мере некоторых и притом наиболее чутких, искренних и верующих слушателей слова о страшном суде в Исаакиевском соборе, потрясающая картина, нарисованная талантливым оратором, должна была отразиться именно так: ученые господа, которые народ бунтуют, суть безбожники, отступники, сыны дьявола, слуги антихристовы, с коими должно бороться крестом и мечом до пролития крови.

„Бей студентов!“ — этот крик (поистине тоже легендарный) уже раздался, правда, еще в самой темной, даже черной, хулиганской части народа (кто, впрочем, с точностью знает всю глубину русского хулиганства?). И в этом крике слово „студент“ уже имеет значение символическое: „бей студентов!“ значит „бей интеллигентов, бей ученых господ!“. Тут пока еще только вражда политическая. Но во что превратится лозунг национального хулиганства, ког-

да к вражде политической присоединится вражда религиозная, одна из самых безумных и неутолимых страстей человеческих, один из тех огней, которые зажигают великие и почти неугасимые всемирно-исторические пожары, и притом — вражда, идущая не только снизу, но и сверху? Во что превратится этот крик, когда хулиганское: „бей студентов!" заменится уже всенародным: „бей антихристов!"

Ужасно. И всего ужаснее то, что в обвинительных пунктах, выставленных епископом Антонием против русской интеллигенции, и в его окончательном приговоре над нею я не нахожу ничего, чем бы возразить на этот крик. В самом деле, ежели принять за истину основание первого и самого главного пункта, а именно то, что участие в культуре „языческого", „еретического" запада есть уже отречение от христианства, от Христа, „родившегося в Вифлееме и живущего в России" (формула епископа Антония), то нельзя не прийти к тому выводу, что мы все, образованные русские люди,— действительно, „слуги антихристовы". И тут уже нельзя ждать никакого разделения на овец и козлищ, на пшеницу и плевелы. Воистину, никто из нас, хотя бы под страхом церковной анафемы (мы, впрочем, уверены, что подобная анафема со стороны всей церкви абсолютная, не только реальная, но и религиозная невозможность), никто из нас не согласится признать всю Европу, „страну святых чудес", по выражению Достоевского, „царством антихриста". Подобное признание показалось бы всем нам изуверством, чудовищным анахронизмом, пережитком XVII века, страшным ходом назад, небывалым в русской истории за последние два столетия. Тут все мы, от мала до велика, тверды непоколебимою твердостью нашего Камня, краеугольного Камня новой России — Петра. Ибо ничья рука не изгладит этих слов, о нем сказанных:

„На что в России ни взгляни, все его имеет началом, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут. Сей во всем обновил или паче вновь родил Россию".

Петр — первый образованный русский человек, первый русский интеллигент. И приговор наш есть в то же время приговор ему. Ежели мы все, образованные русские люди,— „антихристы", то и Петр —

„антихрист". Так ведь и решают люди „древлего благочестия", для которых тоже всякое участие в культуре „еретического Запада" есть отречение от Христа, удалившегося, будто бы, от всего мира и „живущего только в России", „Третьем Риме", „Новом Израиле". И ежели делать то, что мы, образованные русские люди, плоть от плоти, кость от кости, дети Петровы, по его завету делаем, значит „ненавидеть Россию", то и Петр ее ненавидел. Мало того: суд над ним и над нами есть в то же время суд над всем петербургским периодом русской истории, который продолжал дело Петра, правда, с великими изменами и неудачами, происходившими, главным образом, оттого именно, что, являясь часто в своем бюрократизме — „казенщине" носительницей только мертвой буквы Петровых заветов, государственная власть не имела достаточно мужества, чтобы соединиться с нами, русской интеллигенцией, единственной в России носительницей живого духа тех же заветов Петровых в нашем стремлении к свободе личности, последнему и драгоценнейшему дару западноевропейской культуры.

Я далек от мысли, что епископ Антоний предвидел хотя бы только возможность тех выводов, которые я делаю из его посылок. Во всяком случае, он уже потому не мог бы их сделать сам, что главная цель его проповеди — защита существующего порядка. А ведь мысль вернуть Россию к старине допетровской, оторвав от участия в западноевропейской культуре, есть нечто гораздо более разрушительное для существующего порядка, нежели самые крайние мысли наших революционеров: ведь иногда, пятясь назад от призрачной опасности, можно упасть в настоящую яму, и притом такую глубокую, что костей не соберешь, ибо когда заблудился ночью в горах, то как знать, впереди или позади самый страшный обрыв.

СВ. СОФИЯ

Теперь, когда мы так заняты Дальним Востоком, может быть, особенно любопытно вспомнить о месте первого соприкосновения Запада и Востока, о „вратах Востока“ — Константинополе.

Но, признаюсь, я поехал в этот город не столько с мыслью о Дальнем или Ближнем Востоке, сколько с желанием увидеть храм — христианский ли, нет ли — не знаю, но храм Бога живого и прекраснейшее из всех зданий, построенных людьми и доныне уцелевших (Парфенон почти разрушен) — храм св. Софии, Премудрости Божией.

Тем, у кого не много денег и сил физических, лучше не предпринимать этого путешествия. Оно утомительно и дорого.

Прежде всего переезд по Черному морю. Я ехал в конце мая, но качало так, что больны были все, не только слабые европейцы, но и семижильные азиаты, и даже пароходный механик, и даже пароходный петух. Длилось это 36 часов подряд — от Херсонесского маяка (около самого Севастополя) до входа в Босфор. А когда мы, наконец, остановились в мутных, но, слава Богу, тихих водах Золотого Рога, на нас напала дикая, поистине разбойничья орда носильщиков, лодочников, таможенных чиновников, гостиничных комиссионеров, монахов, драгоманов, полицейских — турецких, армянских, греческих, анатолийских — и всякой прочей христианской и языческой международной сволочи.

Все они смотрели на нас и на наше имущество как на свою законную добычу и тащили, и рвали ее на части со зверскими лицами, с бессмысленной дракой, с бешеным воплем, с исступленной руганью. С этого

мгновения началось бесстыдное грабительство в виде мошеннических, но неизбежных цен и еще более неизбежных „бакшишей“ (турецких „на-чаев“), грабительство, которое длилось непрерывно до нашего отъезда. Нас грабили мусульмане, грабили христиане, грабили европейцы всех наций, грабили русские, служащие в посольстве (эти последние, кажется, хуже всех). Мы давали, давали... а радостей получали мало, да и полученные были сомнительны.

Любопытно, конечно, взглянуть на безобразно-животную восточную грязь, человеческую и собачью (собак едва ли здесь не больше, чем людей), заливающую улицы Второго Рима, подышать запахом вялых овощей и бараньих туш, вывешенных в мясных лавчонках (этой всеобщей бараниной нас чуть не задушили, без нее не обходился ни завтрак, ни обед; она же незримо присутствовала и в молоке, и в кофе, и даже в вине); любопытно побродить под расписными сводами в странно-пахучем, янтарно-желтом и пыльно-синем сумраке Старого Базара, который, однако, очень напоминает нашу толкучку в чудовищном виде; лестно среди как будто избранного, а в сущности, весьма прощелыжного, космополитического общества европейских туристов на селамлике — священном параде султана — созерцать крючковатый нос его правоверного величества, мимолетный кивок его головы и сорок-сороков его закутанных жен в каретах последней парижской моды, сопровождаемых бесчисленным количеством черных евнухов; любопытно взглянуть на „дервишей пляшущих“ — вертящихся в белых балахонах (совсем наши хлысты), и на „дервишей ревущих“ (подлинный экстаз, религиозное исступление). Все это любопытно, повторяю, но не стоит, однако, ни таких денег, ни такого утомления.

Но вот св. София — для нее, для одной, стоит, пожалуй, поехать в Константинополь! Я, по крайней мере, не жалею, хотя это уже мое второе паломничество к ней. В первый раз я посетил ее двенадцать лет назад. Тогда я видел ее тотчас после Афин и Парфенона, который оставил во мне самое сильное впечатление *красоты*, которое я когда-либо испытывал в жизни. Но св. София дала мне нечто новое, совсем, до противоположности иное, но, может быть (я знаю,

не случайно останется всегда это *может быть*), столь же великое. Тогда я только замышлял мою трилогию „Христос и Антихрист". Тема этой трилогии — отражение в истории — *вселенской*, то есть все века, все народы и культуры объединяющей,— идеи христианства (или, вернее, религии св. Троицы, потому что христианство — только фазис этой религии).

И я увидел тогда в св. Софии первое, и доныне в новом религиозном зодчестве единственное, воплощение этой идеи.

После оконченного двенадцатилетнего труда мне захотелось вновь взглянуть на св. Софию, поклониться ей, храму первого вселенского соединения народов в религии Отца, Сына и Духа.

Когда издали, с Босфора, в конце узкого мыса между Золотым Рогом и Мраморным морем, видишь св. Софию, она представляется почти геометрически правильным, как игральная кость, четырехгранником с наложенным на него плоским куполом цвета темно-серого, как осиное гнездо, между четырьмя длинными и узкими стрелками минаретов, разумеется, позднейшей мусульманской пристройки. Просто, даже слишком просто, почти бедно, хотя и огромно, потому что сразу видишь или не столько видишь, сколько угадываешь, что это самое большое здание города.

Но когда входишь внутрь храма и видишь его весь сразу (в этом его особенность, что видишь его сразу, с первого взора весь), душе понятным делается его величие: душа хочет крыльев. Ничего, кроме светлого, безмерно огромного, небу подобного, свода. Чувствуешь, что здание построено для этого свода. Все для него, все от него, все в нем. Он покрывает, соединяет, согласует, просветляет все. Никогда на земле не было более совершенного образа вечности, и почти невозможно поверить, что это создание рук человеческих.

Кроме главного, среднего, есть другие, меньшие, своды. Три в глубине: один над алтарем, два по бокам, прообразующие три неслиянные Ипостаси св. Троицы — Отца, Сына и Духа. Над этими тремя — один, бо́льший, как бы объединяющий эти три; в нем выражено нераздельное единство Ипостасей Троичных. И, наконец, над ними, надо всеми —

главный, средний, самый широкий,— последнее соединение св. Троицы с миром, Бога с человечеством, последнее совершение вселенского и божеского в явлении Богочеловечества, Церкви торжествующей, святой Софии, Премудрости Божией, последнее совершение времен и вечности, когда все будет в Боге и Бог будет во всем.

Своды подымаются без тамбуров, прямо от стен. В основании сводов расположены сплошным рядом низкие полукруглые окна, наполняющие свод ясным, тихим светом так, что, кажется, купола реют в воздухе, сами воздушные, солнечно-золотистые, неимоверно высокие, легкие-легкие и несокрушимо твердые, как твердь небесная, „плоть духовная“, Святая Плоть.

В наших древних русских церквах (соборы Успенский, Благовещенский и др.) и в средневековых готических соборах впечатление тайны и святости достигается угашением света дневного, искусственной ночью, в которой теплятся огни лампад и свечей, или же еще более искусственной окраской света радужными стеклами. Римский Петр светел, но лишен тайны; там холодный белый свет дневной — свет человеческого, только человеческого разума, свет полуязыческого Возрождения, гуманизма и рационализма, уже предвозвещающих протестанство из святого-святых католичества. Св. София — единственый храм — светлый и полный теплой, солнечной, небесной тайны. Янтарные лучи, мягкие и ровные, льются сверху, и весь круглый, ясный простор освещен ими.

Иногда сквозь купол, из неба в небо, пролетают голуби, свистя крыльями, нежно нарушая благочестивую тишину. Да, перестав быть „христианским“, великий храм остался все-таки храмом, домом Божиим, и тишина его поистине благочестива. Да и был ли он, мог ли быть и оставаться „христианским, только христианским“, он, храм последней Премудрости Божией, так чудесно отразивший — помимо *полного* сознания строителей — всю полноту божественной триипостасности? И кто знает, не оттого ли именно, что не было у людей, создавших его, этого реально-действенного сознания Троицы, что они все-таки считали его *христианским, только христианским* храмом,— не оттого ли теперь стены его голы, сломаны,

затерты кресты, замазаны святые лики, и там, над лишенным завесы алтарем, в среднем своде, лишь чуть видна, как громадная склоненная тень, голова Богоматери?

В храме молитвенная тишина. Люди приходят, благоговейно сняв обувь, становятся к стене поодиночке, а чаще вместе и молятся. Долго, тихо, мерно опускаясь на колени или садясь и потом вместе, враз, подымаясь. Видно, читают вместе одну и ту же молитву. Они молятся Отцу, не зная Сына. Отцу без Сына, теперь, когда уже был Сын. И здесь, в этом храме Всех Трех — был, но ушел. Алтарь Его пуст. Алтарь — в средней нише и обращен прямо к востоку. А Мекка — Иерусалим магометан — лежит к юго-востоку,— и вот ныне главный алтарь в *мечети Айя-София* не в середине храма, а чуть-чуть правее. Желтые, свежие циновки, сплошь устилающие пол, низкие лампады, кое-где низкие скамьи и подушки — все это как бы стягивается, влечется устремлением вправо; слегка, полузаметно, но упорно, и если вы это увидите, то уже нельзя отделаться от какой-то мутящей тоски, от впечатления внешней перекошенности всего здания, такого строгого и стройного в своей сущности.

Какой крошечный, низенький балдахин над новым алтарем магометанским и как величествен широкий купол над древним пустующим алтарем! Но все молитвы, все воздыхания обращены туда, к этому крохотному балдахинчику, указывающему направление Мекки. „Един Аллах, и Магомет — пророк Его!“

Я сидел на низкой ступени у главного входа, прямо против алтаря, смотрел в побледневший простор великого завоеванного храма с его тенями херувимов на стенах, чуть видными, жалкими и страшными, точно отошедшими; видел вьющиеся вправо, вкось циновки; слушал крылья пролетающих вверху голубей и тихие, чистые, такие чуждые мне, такие неподвижные, косные молитвы чуждых людей — Богу-Отцу без Сына. И мне становилось жутко.

В самом деле, возможно ли, что это лишь случайность? Храм Софии, Божественной Мудрости — воплощение, созданное человеческими руками на земле, постижение людьми этой Мудрости — пал, отнят

у создавших и постигнувших, отдан во власть пришедшему с Востока чуждому племени, людям, не знающим и не могущим узнать? Они остались, какими пришли, со своим неподвижным, бессыновним, бездейственным Отцом. Потому что ведь и к Отцу, как к Отцу, можно прийти только через Сына. Религия мусульманская — религия косности, недвижности. И поскольку она соприкасается с жизнью,— она ее задерживает. Религия чистого, каменного созерцания. Обращаясь к действию, к культуре, к знанию, к какому-либо *движению*, магометанин тем самым отвертывается от магометанства, *выходит из религии*. Это религия жизни без жизни.

Таковы они, завоевавшие, взявшие себе великий храм, владеющие им много веков. Неужели это случайность?

То, что долго терпится на не знавших, не слышавших, не прощается знающим и не исполняющим. Людям, которые строили этот храм Триединому Богу, Софии Премудрости, было дано много. И многое с них спросилось. Они знали Сына, открывающего Отца, посылающего Духа Утешителя. И эти Три — Едино, и эта религия — христианская, то есть единотроичная через Христа открывающаяся,— единая действенная, необходимо-двигательная, вечная Тайна, вечно раскрывающаяся.

Но Византия, построив храм Троице, забыла Троицу. Не умом. Одним умом, теоретически, схоластично, буквенно она Ее помнила. Жизнью забыла, в биении крови забыла, остановившись в Христе, только в одном Христе не проходя вечно *через*, сквозь Него, к Отцу и Духу. И остановившись в одном Втором Лике, религия христианства, только христианства — сделалась такой же косной и бессильной, одиноко созерцательной, бездейственной, как ныне еврейская и магометанская, остановленная в первом Лике — в Отце. Только, может быть, еще более бессильной, потому что знающим Сына, слышавшим Его не прощается, если на Его зов не идут они к Отцу, не принимают Утешителя.

И когда в Византии окончательно определилась эта раздельность Сына и Отца, то есть когда ясно стало, что движение, действие, жизнь, мир (начало Отчее) в своем русле текут вне и помимо религиозных

чувств, созерцаний или схематических умствований, вне и помимо храма, где все заслонил Собою Лик одного Христа,— Дух оставил этот слабый, этот слышавший и не исполнивший народ, так что язычники-варвары оказались сильнее его. Они пришли и овладели, взяли и укрепились, и стерли лик Сына со стен и дверей на долгие века. Будет ли когда-нибудь освобождена св. София, выпрямится ли она навстречу восходящему солнцу, вернутся ли отошедшие, бледные тени херувимов? Загорится ли ее вечноприсутствующая тайна новым светом в чьем-нибудь человеческом сознании? Какой народ будет достаточно силен, чтобы понять силу, около человечества лежащую, действенную, силу религии Троицы, принять ее в себя, во все свое существо и ею победить?

Страшно и бесполезно гадать. Можно только верить, что когда-нибудь это должно совершиться и совершится. Но, кажется, далеки еще времена, и чем пристальнее вглядываюсь я в настоящее, тем менее верится в близость чьей-либо грядущей последней победы.

Страшно и прошлое, страшно и настоящее. И наше, русское настоящее.

Опять и теперь, как всегда в острые и решительные мгновения истории всех народов, откуда-то идут „язычники", варвары — новые, „культурные", но все-таки те же варвары — поднимают головы, встают, надвигаются — побеждают. Напрасно близорукие европейцы так мало придают значения тому, что наша война с Японией — война языческого народа с христианским. Не считаться с этим — все равно что не обращать внимания на противоположность рас, на важность столкновений Европы и Азии, на самую кровь в деле, где она-то именно и льется.

Религия народа — не случайность, это признáет всякий, как бы он сам лично на религию не смотрел. И даже, если допустить, что причины зарождения той или другой религии у того или другого народа случайны, то следствия ее жизни в народе неоспоримы. Религия — часть крови и плоти народной; она делает его таким или другим, подводит или отводит от культуры, бросает его в культуру, разгорается или гаснет сама от прикосновения культуры. Религия до сих пор *делала* народы, давала им силу или отнима-

ла ее. Если история готовит нам в будущем народы безрелигиозные, если культура вытеснит религию, то можно ли будет в действительном смысле слова назвать безрелигиозными эти народы? Культура не вытеснит, а лишь *заменит* собою религию, займет ее место, то есть сама станет *религией*. Таково *вечное* свойство человеческой души, человеческого существа. В душе есть *место для Бога*, как в теле — место для пищи. И чем бы человек ни питался,— питаться он должен и будет, пока живет и если живет. А ослабит или усилит будущие народы религия культуры, *культура как религия*,— это покажет будущее.

Итак, вот новая борьба „христиан" и „язычников". Потому что ни у нас, русских, ни у японцев еще нет культуры как религии, мы — еще „христиане", а культуры у нас совсем нет; у японцев ее больше, но все-таки они прежде всего язычники. И мне кажется, что, поскольку тут столкновение двух религий,— истинные язычники должны были взять верх над христианами. Силу первобытной, варварской, языческой крепости, ныне соединенную с европейской, хотя бы поверхностной, культурностью,— можно побеждать лишь последней силой последней религии — *религии Троицы*, религии всеобъемлющей, не только созерцательной, но и *действенной*, принимающей в себя всю настоящую и будущую человеческую культуру, все откровения и знания, соединяющей в себе „разум — волю — чувство", как соединены в человеке его „дух — душа — плоть". К этой силе, одной побеждающей, мы и должны стремиться. И понять, к чему и куда нужно стремиться — кажется, уже пора. Язычники подымают головы...

Мы никогда не были на той созерцательной религиозной высоте вселенской, какой достигала Византия. Наше христианство мы только взяли из ее же источника, и притом уже замутневшего. Мы, может быть, никогда еще не „слышали" так, чтобы создать храм, подобный св. Софии. Нам многое прощалось и прощается. Но вот язычники подымают головы... Где же мы?

Мы до сих пор во всей нашей религиозной истории жили христианством или даже лишь *тоской по христианству*, по религии чистого и крылатого созерцания. Эти крылья уносили каждого из наших

великих подвижников, великих *молчальников*, в леса, в скиты, на молитвенный камень, в узкий и темный затвор. Уносили от людей, от жизни „сего мира“, с его трепетами, муками, радостями, с его падениями и восстаниями. Если некоторые и возвращались к людям,— они возвращались просветленными, чуждыми, ненужными здесь, уже почти нездешними. Это были одинокие, „исполнившие“ завет своей одинокой веры. А для остальных верующих завет был тот же, только не исполняемый ими по слабости, стоявший около, пока они жили, работали, любили, действовали,— завет не входивший *никак в их действия и все действия собою осуждающий*.

„Отрекись, во имя Христа единого, от всего, ибо все во зле лежит,— и получишь великую награду на небесах. Культура, наука, красота, любовь — все это мешает тебе остановиться духовным взором на Христе и, погружаясь всецело в Его созерцание и приобщаясь голгофским мукам,— спастись. Пост, покаяние и молитва — вот твои действия, твоя жизнь, твой путь к спасению. Твой и каждого, кто сможет им идти. *Других путей нет*“.

Это, конечно, идеал, которого достигали немногие; но разница лишь в степенях приближения, а уклон один: „поскольку ты в жизни и в действии, постольку ты вне религии; поскольку ты верующий, идущий ко спасению, желающий приблизиться к Богу, постольку забывай о них, отрясай прах земной“. Я говорю нарочно резко, без переходов, без теней, для того чтобы яснее выявить принцип *христианства, только христианства,* религии, остановленной в Лике Христа и потому сделавшейся религией чистого и бездейственного созерцания в наивысших своих точках.

Вероятно, и теперь есть, как встарь, эти высшие точки — великие старцы, молчаливые подвижники, истинно святые и светлые провидцы, где-нибудь в далекой келье или в лесу, о которых мы не знаем, потому что они скрыты и ничего нам не говорят. Говорят те, которые сами для себя этой высшей точки почему-либо не достигли, но завет, самый принцип созерцательной, внеземной религии хранят или охраняют твердо. Исходя из этого принципа, они, с неизбежностью, может быть, роковой для них, про-

клинают и осуждают огулом весь трепет жизни, все ее порывы, всю ее молодость; они обвиняют современное поколение, стремящееся к знанию, к вольному воздуху, к общению и к общему действию в том, что люди эти будто бы безрелигиозны.

Недавно мне пришлось прочитать две-три громовые (или, проще, бранчивые) статьи провинциальных пастырей высокого положения, направленные против всей интеллигенции, то есть против всего русского образованного общества и, конечно, главным образом, против той его наилучшей части, которая моложе, страстнее и горячее ищет *правды общественной*, смелее действует, бескорыстнее идет вперед, не задумываясь перед самопожертвованием. Епископы и архимандриты предавали интеллигенцию проклятию, не говоря, однако, открыто, до конца, что их собственная религиозная точка зрения *не может допустить никакого действия*, но как бы осуждая *только эти* именно действия.

Мне гораздо более понятна прямая речь одного из представителей столичного белого духовенства, которую я прослушал этой зимой в закрытом собрании. Совершенно точно было высказано убеждение, что верующему христианину, а наипаче служителю церкви (о монахах уж и не говорилось) должно принимать общественную жизнь, все ее существующие формы, проявления, течения и уклады *такими, каковы они есть*, отнюдь их не судя и в них не вмешиваясь; пастырь-де молится о сохранении того, что пребывает в данный момент, веруя, что оно ниспослано Богом, дарующим наилучшее; поскольку же он принимает участие в действиях общественных, постольку он перестает быть пастырем, а делается частным человеком, то есть соответственно отходит от Бога, как соответственно отходит, конечно, и просто верующий, ибо ведь это все ступени одной и той же лестницы „христианства“: высшая — старец, отшельник, святой, затем архипастырь черного духовенства, затем просто монах, затем священник и, наконец, верующий мирянин. Таким образом, ясно, что *всякое* действие, *всякое* участие в делах мирских есть с этой, будто бы, единственно „христианской“ и в данном случае с православной точки зрения — компромисс, отход от религии; и чем больше это участие, тем

дальше отход, и, наконец, в самую даль — в „безбожие“.

Проведение открыто этого принципа во всей его последовательности мне понятно. И я искренне сожалею, что упомянутые выше провинциальные архипастыри, предавая анафеме всю учащуюся молодежь и все передовое образованное общество, не обвиняли их открыто в том, в чем должны были бы обвинить, со своей исключительной точки зрения: а именно в действии, то есть в компромиссах, влекущих будто бы за собою удаление от „чистого христианства“. Но, думаю, коснись эти обличители компромиссов вообще,— им пришлось бы объяснить, почему они сами идут на компромиссы, благословляя такие действия, которые уж совсем, казалось бы, неприемлемы, напр., войну, да и не одну только войну! Обличитель должен быть последователен и не останавливаться ни перед чем. А между тем бросающие громы в „развращенную интеллигенцию“ до такой степени наивно не видят собственных противоречий, что у одного из них встречается обмолвка: «... русская *православная* крепость“... Порт-Артур! „Православная крепость“ — это, в своем роде, единственное сочетание слов. И пастырь-обличитель только скорбит и негодует, что в этой „православной крепости“, во время семимесячной осады, не царило повсюду достойное ее православия целомудрие.

Но вернемся к ясным принципам и фактам. Да, современное общество и его мыслящая и наиболее действенная, жизненная и правдивая часть — в сознании своем — вне христианства. В этом-то и ужас, и слабость, и гроза, что подошло такое распадение: религия наша — внежизненна, жизнь наша — внерелигиозна.

Скажут, а где же народ? Разве он-то не религиозен? Разве в нем нет живой веры? Но, может быть, это потому, что народ еще не дошел до неизбежной точки в пути, потому, что он еще вовсе не сознает, в кого и как верить. Вера народная крепка, но слепа. Слепой может идти, кое-как двигаться,— но разве это истинное движение? Слепой опирается на всякую руку, не видя поводыря. А разве всякий поводырь надежен? Нет, лучше народу прозреть и стать перед этим страшным раздвоением путей — жизни и рели-

гии, нежели слепо ползти около оврагов. Лучше народу, подобно людям новым, ошибочно уклониться в одну сторону, в сторону безбожия (как ни страшно это произнести), нежели охранять свою, не сознанную им, веру. Потому что я чувствую, что это было бы лишь на время, потому что чувствую и знаю, какой мираж эти „два пути". Действие и созерцание, жизнь и вера — да неужели они не *одно*, как Отец и Сын — одно? А где Отец и Сын — там и Дух животворящий, ибо все Три — Одно.

Двух путей нет в действительности, но они есть в нашем теперешнем сознании, а потому люди культуры и действия сознательно безрелигиозны, а люди верующие — сознательно бездейственны. Вины, может быть, нет ни на тех, ни на других или вина на всех, ибо те и другие части раскалывают Единое, берут части силы, которая в части своей, как сила, исчезает. И слабы созерцающие, только созерцающие, как слабы действующие, только действующие. Духа животворящего нет ни на тех, ни на других. Царство раскололось пополам... И язычники подымают головы...

. . . .

Святая София, ясная и грустная, полная янтарным светом последней Тайны, поддержала мою падающую, испуганную душу. Я смотрел на свод, подобный небесному своду, и думал: ведь вот есть же Она, человеческими руками созданная, Она — человеческое приближение к Триединому Богу на земле. Это было — и будет больше этого. Как не придут к Отцу-миру истинно верующие в Сына? Как не придут к Сыну любящие мир, который и Отец так возлюбил, что Сына отдал за него? А они душу свою кладут за него и за друзей своих. У них есть уже Сын, если есть Любовь. Они только Имени не знают.

И мне хотелось молиться за всех, молиться в этом, до срока языческом, но единственном храме будущего о даровании моему народу истинной, побеждающей силы: сознательной веры в Бога Триединого.

О НОВОМ РЕЛИГИОЗНОМ ДЕЙСТВИИ

(Открытое письмо Н. А. Бердяеву)

Глубокоуважаемый

Николай Александрович!

Для меня нет никакого сомнения в том, что Ваша статья „О новом религиозном сознании" — самое глубокое и проникновенное из всего, что было сказано, как у нас в России, так и за границей, о моих религиозных идеях. Вы сказали о них почти все, что в настоящих условиях литературных и общественных можно и должно сказать; далее начинается область, где уже нельзя только говорить, а надо говорить и делать вместе, где *доказывать* значит *показывать*.

„Полюби не меня, а мое",— эта незаглушимая потребность всякого писателя, у которого есть что-нибудь, чем он дорожит больше, нежели самим собою,— отнюдь не потребность внешнего литературного успеха, а внутренней живой связи с читателем — в любви к *Единому*. До сих пор у меня этой связи почти не было. В России меня не любили и бранили; за границей меня любили и хвалили; но и здесь и там одинаково не понимали *моего*. Я испытывал минуты такого одиночества, что становилось жутко; иногда казалось, что или я нем, или все глухи; иногда хотелось воскликнуть с тем последним отчаянием, которым искушал меня мой вечный искуситель, В. В. Розанов, в статье своей „Среди иноязычных", с таким нежным и предательским лукавством: никто ничего не понимает, никто ничего никогда не поймет. Если я не впал в отчаяние, если сохранил надежду, то только благодаря тому, что будучи один в литературе, в жизни я не был один: сколько бы нас ни было сейчас, будет все больше и больше; дело не в численном количестве; Вы, впро-

чем, сами знаете, какая таинственная неодолимая сила и власть в этом троичном символе: 1, 2, 3.

И надежда не постыдила меня. Вот уже в литературе я не один. Вы со мною? Или, может быть, я с Вами? Не все ли равно? Главное мы вместе. Вы полюбили не меня, а мое. Это великая радость. Ибо для меня литература — вторая жизнь, не менее глубокая, чем первая.

„Мережковский приближается к разгадке какого-то секрета, ходит около него, но знает ли он уже его, или знает только о нем? Наши с ним желания тождественны, мы хотим разгадать ту же тайну и потому путь у нас один“. Я не хочу сомневаться, что эти слова имеют для Вас такое же значение, как для меня, как для *нас*. И когда Вы смешиваете маленькое слово „секрет“ (никаких „секретов“ у меня нет, да они и не нужны мне) с великим словом „тайна“, Вы, может быть, это делаете нарочно для того, чтобы прикрыть этими двумя словами третье, такое великое и святое, что Вы его не хотите произносить, и я произнести не смею; но Вы его знаете и знают все, кому должно знать. „Путь у нас один“,— значит ли это, что мы идем с Вами именно к *этому* слову, которое не может оставаться только словом, но должно кончиться *действием*? Значит ли это, что единство нашего пути более, чем умственное, более, чем нравственное, более, чем жизненное, что оно *религиозное*? Так ли я Вас понял? Если так, то, когда Вы писали слова о единстве наших путей, Вы подписывали святой и страшный договор, святой и страшный для нас обоих, для нас всех, для Единого во всех нас. Вы это знаете? Вы не отступите? Во всяком случае, мы не отступим. Если, впрочем, Вы примете этот договор так же, как мы его примем,— а иначе принять мы не можем,— то и для Вас уже нет отступления.

Но прежде чем принять договор, я должен ответить на вопросы, которые Вы мне предлагаете, и в свою очередь предложить Вам вопрос: только ответ на этот вопрос решит окончательно, один ли у нас путь.

Вы совершенно справедливо заметили мой недостаток — „отсутствие философской критики“, отчего у меня происходит иногда большая неясность не столько религиозных понятий, сколько их выраже-

ний. В этой слабости моей Вы оказываете мне великую помощь: то, к чему я подхожу лишь более или менее темным, религиозным чутьем, Вы освещаете светом философского сознания. Вы показали, что поставленная мною с недостаточною твердостью метафизическая проблема о „духе“ и „плоти“ разрешается не в метафизическом, а в мистическом порядке, в откровении Триединства Божественных Ипостасей, в соединении двух Ликов, Отчего и Сыновнего, в Третьем Лике Духа; Вы показали, что моя борьба с монашеским аскетизмом и спиритуализмом исторического христианства слишком внешняя, поверхностная, слишком „позитивная“; что эта борьба должна происходить на иной, гораздо большей глубине; предстоит победить не столько метафизический „спиритуализм“, сколько мистический „дуализм“, заложенный в основу исторического христианства. Религиозная проблема духа и плоти, полярности бездн, двойственности рождается не из онтологического дуализма человеческой природы, а из величайшей для нас тайны разделения Бога на два Лика и отношения этого раздвоения к эманирующему из Бога множественному миру; и религиозно разрешается эта проблема, двойственность замиряется в третьем Лике Бога.

В этих словах, которые, надеюсь, будут часто повторяться как руководящие, Вы дали метафизическую формулу такой прозрачности, какая только возможна в настоящее время, и я принимаю эту формулу целиком. Надо преодолеть в христианстве историческом не метафизикой метафизику, не мыслью мысль, а опытом опыт, откровением откровение; надо не говорить о том, что Два суть Едино, а *явить* Едино в Двух, *сделать*, чтобы Два были Едино. А пока это не явлено, не сделано, не следует отрекаться от метафизики для мистики. Должно пройти все пути человеческой мысли до конца — и только с их *последней* вершины можно „лететь“, а преждевременный мистический полет в „новое небо“ может оказаться только метафизическим провалом в пропасти „старой земли“.

Там, где я карабкался по дикой круче, блуждая, срываясь и падая, Вы намечаете план светлой и широкой лестницы, по ступеням которой могут идти

все — как бы Пропилеи человеческой мудрости, философии — во храм Премудрости Божией, Св. Софии. Этот план должны исполнить будущие поколения работников. И когда он будет исполнен, то, может быть, окажется, что мудрость человеческая и Премудрость Божия, Философия и Св. София ведут к одному — к созерцанию Божественного Триединства. Когда это солнце взойдет, то не нужен будет свет земных светильников; но пока оно не взошло, пока мы идем как бы в подземной ночи,— мне, шедшему доныне почти ощупью,— как не радоваться Вам, готовому пойти со мною рядом и осветить мой темный, иногда столь страшный путь светом философского сознания, спасая меня от ложных, может быть, непоправимых шагов? В этом смысле Вы мне нужнее, чем кто-либо.

Возьму только один пример — мое отношение к В. В. Розанову. Русские богословы очень охотно связывают нас в неразрывную парочку: „Наши неохристиане, г. г. Розанов и Мережковский". В темноте только увидели или, вернее, услышали, что мы близки друг к другу. Но никто не подозревал, что это — близость двух противников, которые готовятся на смертный бой. Вы первый осветили светом философской критики наше непримиримое положение относительно друг друга; вы первый в литературе отметили: „несмотря на свою кажущуюся близость с Розановым, Мережковский в сущности стоит на диаметрально противоположном конце: Розанов открывает святость пола („плоти") как бы до начала мира, хочет вернуть нас к райскому состоянию до грехопадения; Мережковский открывает то же самое после конца мира, зовет нас к святому пиршеству плоти в мире преображенном. Мережковский прав, потому что смотрит вперед, а не назад".

Я считаю Розанова гениальным писателем; за то, что он всем нам дал, нельзя заплатить никакой благодарностью; критика исторического христианства у него глубже, чем критика самого „антихриста" Ницше. Но, несмотря на всю мою благодарность и личное неизменно дружеское отношение к Розанову,— в области религиозных идей, если бы только он мог или захотел понять то, что я говорю,— он оказался бы моим злейшим врагом. По всей вероятности,

тот поединок, для которого мы как будто сходимся, никогда не состоится, не потому, что Розанов не захочет принять мой вызов, а потому, что он его просто не услышит. Мы сошлись на мгновение, совпали в одной точке, как две пересекающиеся линии, и навсегда расходимся. Чтобы вернуться к Розанову, я должен вернуться назад, а я не хочу назад. И ежели начнется последняя борьба уже не между мною и Розановым, а *всеми нами*, ищущими Церкви Вселенской, и теми, кто считает себя представителями поместной греко-российской церкви, то Розанов, несмотря на все свое отрицательное отношение к христианству вообще, станет все-таки на сторону исторического христианства против нас. Во всяком случае, Вы оказали нам большую услугу, разорвав этот ложный, не нами заключенный союз: мы хотим быть лучше явными врагами, тайными друзьями Розанова, чем наоборот.

Столь метко указанная Вами онтологическая неясность моего отношения к проблеме о „духе“ и „плоти“ отразилась неизбежною, соответственною неясностью и на моем отношении к проблеме о церкви и государстве. Тут возникает первый из тех трех вопросов, на которые я хочу ответить.

Вы спрашиваете: признаю ли я и теперь, как тогда, когда писал „Л. Толстого и Достоевского“, что в государственной власти заключено положительное религиозное начало? Отвечаю по необходимости кратко, но я хотел бы, чтобы этот краткий ответ не только для вас, но и для всех, кто интересуется моими идеями, имел такой же вес, как для меня.

Нет, я этого не признаю; я считаю мой тогдашний взгляд на государство не только политическим, историческим, философским, но и глубоким религиозным заблуждением. Для нас, вступающих в Третий Завет, в Третье Царство Духа, нет и не может быть никакого положительного религиозного начала в государственной власти. Между государством и христианством для нас не может быть никакого соединения, никакого примирения: „христианское государство“ — чудовищный абсурд. Христианство есть религия Богочеловечества; в основе всякой государственности заложена более или менее сознательная религия Человекобóжества. Церковь — не старая, истори-

ческая, всегда подчиняемая государству или превращаемая в государство,— а новая, вечная, истинная вселенская Церковь так же противоположна государству, как абсолютная истина противоположна абсолютной лжи, царство Божье — царству диавола, теократия — демонократии. „Всякая власть от Бога" — это значит, что человеческая, только человеческая власть — не власть, а насилье, не от Бога, а от диавола. Отношение Церкви Грядущей Теократии к земной человеческой власти может быть выражено словом „безвластие", „анархия" — весьма несовершенно, не потому что слово это чрезмерно, а потому что оно недостаточно выражает силу отрицания власти, заключенную в идеи теократической общины: голое отрицание меньше, чем утверждение противоположного; теократия не только отрицает всякую власть человеческую, но и утверждает „власть Божью", которая лишь извне кажется „анархией", а внутри есть беспредельная свобода в любви,— взаимовластье: в царстве Божьем — все цари, все господа, а единый Царь царствующих и Господь господствующих — сам Христос. Теократическое вневластие страшнее, убийственнее для государства, чем всякая политическая „анархия".

Вы говорите: „ничем так не повредил себе Мережковский и великому делу религиозного возрождения России, как фальшивыми нотами в вопросе о государственности и общественности.— Как хорошо было бы, если бы он окончательно высказался".

Я сознаю это так же, как Вы. Ничего бы я так не хотел, ничего бы мы все так не хотели, как „высказаться окончательно". Но есть ли возможность сделать это сейчас, в те острые мгновенья, которые мы переживаем? Теперь все слова еще заглушаются громом событий. Но эти события, верю, ускорят и облегчат религиозную работу, которой посвящена моя — *наша* жизнь. Пока же скажу лишь несколько слов.

Вы удивляетесь, что „Мережковский не сознал сразу того, что теперь, по-видимому, начинает сознавать,— что государство, царство есть одно из искушений дьявольских". А я удивляюсь, что Вы этому удивляетесь. Вы же сами указываете, что не только я, но и такие люди, как Достоевский и Вл. Соловьев не сознали этого „сразу" и даже совсем не

сознали. Думаю, что тут вообще страшнее соблазн, чем кажется. Недаром же самого Сына Человеческого диавол искушал царством земным — и не Сын Человеческий, а Сын Божий победил искушение. Так же, как некогда Человек, искушается ныне все человечество. И это искушение победит не человечество, а только Богочеловечество.

Тут хитрость диавола в том, что он никогда не показывает истинного лица своего, лица Зверя, а прячет его за тремя личинами, тремя подобиями Божескими. Первое подобие — разума: насилие власти оправдывается разумною необходимостью; насилие во имя порядка и разума признается меньшим злом, то есть благом, по сравнению с насилием во имя хаоса и безумия, которым грозит, будто бы, всякая анархия. Второе подобие — свободы: внутренняя личная свобода каждого ограничивается и определяется внешнею общею свободою всех; и в том и в другом случае свобода, признаваемая только как нечто отрицательное, как свобода *от* чего-нибудь, а не свобода *для* чего-нибудь, постепенно сводится к ничтожеству. И, наконец, третье, самое лукавое, подобие — любви: человек жаждет личной свободы; но человечество жаждет „всемирного объединения"; и диавол, обещая утолить эту жажду, учит людей жертвовать личной свободой всеобщему братству и равенству. Для того, чтобы обличить ложность этих подобий, мало *знать* истину, надо *быть* в истине.

Вы говорите: „Теократия есть царство любви и свободы". Легко сказать, трудно сделать; трудно при теперешних силах наших, почти невозможно найти даже первую *реальную* точку для теократического *действия*. „Царство любви и свободы"? Но разве Вы не видите, какая страшная антиномия между тем, что люди называют „любовью", и тем, что они называют „свободой"? Быть свободным значит для них — утверждать себя, хотя бы против других; любить — утверждать других, хотя бы против себя. Как же соединить отрицание себя с утверждением себя? Люди не только этого не делают, но и не подозревают, что это можно и нужно сделать: когда они любят или, вернее, хотят любви, то естественно отказываются от свободы; когда свободны или, вернее,

хотят быть свободными, то естественно отказываются от любви.

Кровавого пота стоило Сильнейшему из людей слово, соединяющее последнюю любовь с последней свободой: „Не Моя, а Твоя да будет воля“. Чего же оно будет стоить нам?

„Заповедь *новую* даю вам, да любите друг друга“. Если это повторение того, что уже сказано в Ветхом Завете: „Люби ближнего твоего, как самого себя“,— то это была бы заповедь не новая. Любовь, которую заповедал Христос, потому и есть „новая, что она не только любовь, но и свобода, не только путь *личного*, но и *общественного*, всечеловеческого, вселенского спасения“. Эта любовь — бесконечная свобода и вместе с тем бесконечная власть, о которой сказано: „Мне принадлежит всякая власть на земле и на небе“. Если жив Христос,— а Он воистину жив, потому что воистину воскрес,— то жив наш Царь и не может быть иного Царя, иной власти ни на небе, ни на земле, кроме Христа. Власть Христова — власть новой любви вселенской и есть единственное подлинное основание нового по отношению ко всем прежним земным властям безвластного, анархического, общественного строительства, царства Божьего на земле — теократии. Историческое христианство, приняв новую заповедь, как старую, любовь, как дело личного, одинокого, а не общественного, вселенского спасения, не могло принять и новую власть Христа, как живую, не только небесную, но *и земную* реальность; вознесло эту власть в область идеальных и в сущности праздных отвлеченностей, а в области земных общественных реальностей признало за власть, идущую от Бога, власть, идущую от диавола — государственное насилие, как будто усомнившись в этом обетовании нашего Единого Царя и Первосвященника: *„Вот — Я с вами до скончания века. Аминь“*,— подменило живого, вечно с нами и в нас живущего Христа двумя мертвыми призраками, оборотнями, „наместниками Христовыми“ — на Западе — римским первосвященником, на Востоке — римским кесарем. И получилась безобразно-нелепая, кощунственная химера — „Христианское государство“, „православное самодержавие“. Но химера стала страшною реальностью. А новая любовь, новая

власть Христова все еще — неоткрывшаяся тайна, несовершившееся чудо. Мы предчувствуем эту любовь, как, может быть, никто никогда не предчувствовал. Но этого мало. Для того чтобы не впасть в ошибку исторического христианства, мы должны ответить на реальность государства не идеальною отвлеченностью, а еще большею реальностью новой любви, новой власти. А кому из нас открылась тайна этой власти, в ком совершилось чудо этой любви?

„Я научу вас истине, и истина сделает вас свободными",— обещает Христос. Надо полюбить, чтобы быть свободным. Не свобода прежде любви, а любовь прежде свободы. Будьте свободны, и познаете истину — это обман Человекобóжества. Познайте истину — любовь и будете свободными; это истина Богочеловечества. То, что называют безвластием, анархией, колеблется между этим обманом и этою истиною.

Провозгласить анархию — это еще не значит провозгласить теократию. Уйти из государства — это еще не значит войти в теократию. Анархия во имя свободы *без любви* есть путь не к божескому порядку, а к бесовскому хаосу.

Для того чтобы развенчать человекобóжество какого-нибудь президента Лубе, Рузвельта или Наполеона Маленького, не нужно никакой анархии, никакой божеской или бесовской свободы; для этого вполне достаточно свободы человеческой, поскольку она выразилась хотя бы в „декларации прав человека". Но вот — Наполеон Великий, „новое воплощение бога солнца". „Ты прекраснее всех сынов человеческих!" — готов был сказать Наполеону Байрон, как пророк сказал Мессии. Разумеется, Байрон чувствовал религиозную святость свободы не менее, чем вожди Революции. Но для Наполеона не пожалел и свободы, не пожалел Революции, которая оказалась только бунтом черни, „издыхающим Пифоном" пред лучезарным лицом нового бога.

Лук звенит, стрела трепещет —
И, клубясь, издох Пифон,
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон.

„Аполлон Бельведерский встретил Христа",— говорит Достоевский об идее Человекобóжества, заклю-

ченной во власти древнеримских кесарей. В свободе, только свободе, *без любви*, Байрон так и не нашел ничего, что́ бы мог противопоставить соблазнительному величию кесаря. И свободнейший из людей, творец „Каина“, восставший на Бога Небесного во имя свободы человеческой, „падши ниц, поклонился“ богу земному. А ведь и Наполеон Великий покажется маленьким, в сравнении с тем, кому поклонятся все племена и народы земли, говоря: „Кто подобен Зверю сему и кто может сразиться с ним? Он дал нам огонь с неба“.

В моем прежнем ложном отношении к власти, к идее всемирной монархии Вы видите только „старое славянофильство“, „старый романтизм“. Это неверно. Ложь, которая меня соблазняла, была гораздо глубже и опаснее. Это не „старый“, а вечный романтизм, вечный демонизм воскресающего язычества.

Трудно заглянуть в лицо дьяволу и, сорвав с него маску Прометея, Люцифера, Демона,—

Гордый демон так прекрасен,
Так лучезарен и могуч,—

увидеть обыкновенного и этою именно обыкновенностью страшного черта. Трудно победить простым белым светом, *реализмом* Божеской истины сложный и радужный романтизм демонической лжи. Во всяком случае, этого нельзя сделать „сразу“. Чтобы до конца преодолеть искушение, надо его пройти до конца.

Я теперь сознаю, как близок был к Антихристу, какую страшную силу его притяжения испытал на себе, когда бредил о грядущем „папе-кесаре“, „царе-священнике“ как предтече Христа Грядущего. Но я благодарю Бога за то, что прошел этот соблазн до конца. Дорогою ценою купил я некоторое подлинное и несомненное знание, которого иначе не купишь. Я был достаточно вежлив с моим романтическим демоном, чтобы иметь, наконец, право быть не совсем вежливым с моим реальным чертом. Я достаточно чувствовал величие Антихриста, чтобы иметь право сказать о грядущем Самозванце, который станет на место Христа, Единого Царя царствующих и Господа господствующих: *это не Царь, а Хам.*

С представлением об Антихристе как о Хаме Гря-

дущем связан второй вопрос, который Вы мне предлагаете.

„Мережковский делает попытку спастись от соблазнов демонизма, принизив Сатану, поняв черта как полное ничтожество и лакейство. К середине, к плоскости и пошлости он сводит дух зла, дух небытия. Но где же тогда Антихрист, чем страшен он и соблазнителен?“ И Вы решаете: „Гордой идеи о человекобоге и всего, что за ней скрывается, к черту — Смердякову, к середине и пошлости не сведешь... Нет ли тут еще какой-то тайны?“

Мой ответ прост: Антихрист соблазнителен не своею истиной, а своей ложью; ведь соблазн лжи в том и заключается, что ложь кажется не ложью, а истиной. Разумеется, если бы все видели, что Антихрист — хам, он бы никого не соблазнил, но в том-то и дело, что это увидят не все и даже почти никто не увидит. Будучи истинным хамом, „лакеем Смердяковым“ *sub specie aeterni* *, он будет казаться величайшим из царей земных, прекраснейшим из сынов человеческих. По древнему преданию церкви, „Антихрист во всем Христу уподобится“. Этим-то ложным подобием он и соблазнит всех, кроме избранных. Почему это кажется Вам невероятным? Разве на наших глазах во всемирной истории не происходит то же самое: истинные хамы кажутся великими царями, а великие цари оказываются истинными хамами. Так было, есть и будет — будет в большей степени, чем было когда-либо. Современное государство есть мещанство; окончательно победившее, воцарившееся мещанство есть хамство. Ежели Бог — абсолютная свобода, то дьявол — абсолютное рабство. Раб, который стал на место Божье, на место Царя царствующих, и есть последний величайший Хам.

Вы полагаете, что „гордой идеи Человекобо́жества к пошлости и плоскости не сведешь“. Но если это так, то на каком основании Вы сводите к пошлости и плоскости идею всякого государства, даже народовластия, чей последний метафизический предел не что иное, как та же „гордая идея Человекобо́жества“? Пока есть малейшее сомнение в том, нет ли

* Под знаком Вечности (*лат.*).

какой-нибудь истины в этой последней идее, до тех пор остается сомнение, нет ли какой-нибудь истины и в государственной власти. Ежели сам Антихрист не абсолютная ложь, то и царство Антихриста, всякое земное царство, всякое государство — не абсолютная ложь. Не покончив с вопросом о Человекобо́жестве, как Вы могли покончить с вопросом о государстве?

Одно из двух — или Вы должны согласиться со мною, что тайна Антихриста есть тайна лжи и что за этою ложью не скрывается ни тени истины; или Вы должны признать, что Ваше отрицание государства, Ваше безвластие — не религиозное. В таком случае можно бы сделать и Вам тот же упрек, который Вы делаете позитивистам: „Позитивисты, какими бы радикалами и анархистами они ни представлялись, никогда не освободятся от соблазна государственности".

Вам кажется, что для меня не решена проблема о диаволе. Вы ошибаетесь: для меня эта проблема решена окончательно. Я не сомневаюсь в том, что „дух небытия" есть дух вечной середины, пошлости, плоскости: ведь пошлость и есть не что иное, как абсолютное небытие, которое хочет казаться абсолютным, единственным бытием. Вы недоумеваете, где же в таком случае противоположная Богу, „нижняя бездна", то, о чем идет речь в Апокалипсисе как о „так называемых глубинах сатанинских"? Ежели диавол есть плоскость, то как он может быть вместе с тем глубиною? *Быть* глубиною плоскость, разумеется, не может, но когда она отражающая, зеркальная, то она может *казаться* глубиною. Я и утверждаю, что диавол,— насколько нам дано судить о нем в явлениях, а бо́льшего нам не дано или пока не дано,— и есть такая зеркальная, ложная, плоская глубина, плоская бездна. Так называемое „величие" диавола, демона, Люцифера и есть отраженное величие Божие, ложное подобие Лика Божьего. В этом ложном подобии заключается бесконечный соблазн. Совершенная зеркальная поверхность становится невидимой, и получается полный *обман зрения,* так что мы почти не можем отличить отражение от действительного предмета. И чем совершеннее наше метафизическое созерцание Бога, тем зеркало диавола становится совершеннее. Нижняя бездна, нижнее, обратное,

опрокинутое небо, манит к себе соблазном полета вниз, полета вольного, без того усилия, которое нужно для полета вверх. И пока мы только смотрим, только метафизически созерцаем, мы не можем убедиться, что кажущаяся бездна — на самом деле не бездна, а плоскость. И только тогда, когда соблазняемся уже окончательно, срываемся, падаем, желая лететь,— мы, разбившись о зеркало, осязаем *слишком поздно* плоскость „глубин сатанинских“ и убеждаемся, что лететь было некуда.

„Но нет ли тут еще какой-то тайны?“ Во всяком случае, тайна эта не в явлении, а в последней сущности, в происхождении зла. Это вопрос о том, что такое зло не для нас, людей, а для Бога; откуда зло, зачем зло в окончательном порядке мира, который должен осуществить Премудрость Божью окончательно, так что „Бог будет *все во всем*“? Ежели Бог будет все во всем, то где же будет зло? „Я видел Сатану, спадшего с неба, как молнию“,— свидетельствует Сын Божий. Как мог пасть светлейший из херувимов, ближайший из всех сынов Божьих к Сыну Единородному? Зачем нужно было это падение? Восстанет ли Павший? Будет ли прощен Сатана? В этом вечном вопросе Оригена скрыта действительно тайна неисповедимая, перед которой доселе в смирении останавливается испытующий разум. „Вся тварь доныне совокупно стенает об избавлении“. Ежели „вся тварь“, то и диавол, который тоже тварь. Будет ли услышано это стенание? Диавол ненавидит Бога. Но Бог, совершенная любовь, может ли ненавидеть диавола?

С вопросом о вечности зла связан вопрос о вечности осуждения, вечности мук. „Идите от меня, проклятые, в муку вечную“. Зачем обманывать себя? Мы уже не можем принять этого слова так, как оно принималось некогда. Тут что-то раскрывается для нас, доселе сокровенное. Что значит „мука вечная“? В понятии метафизическом вечность едина. Но, может быть, в мистической вечности отражается единство Ипостасей Божеских? Может быть, в единой вечности есть три Ипостаси, три Эона — вечность Отца, вечность Сына, вечность Духа? И осуждение вечное, в Эоне Второй Ипостаси, не вечно в вечности Ипостаси Третьей — в Эоне Духа? „Сам Дух ходатайствует

за нас воздыханиями неизреченными“. Не есть ли это ходатайство Духа о последней благости Отца и Сына, которая покроет последнее осуждение, вечною любовью утолит муку вечную?

Может быть, все эти вопросы, неразрешимые в круге откровений, данных во Второй Ипостаси, в Сыне, будут разрешены в круге новых откровений Третьей Ипостаси, Духа. О конце мира не знает Сын, знает только Отец; может быть, и о конце зла не знает ни Отец, ни Сын, а знает только Дух? Может быть, потому и назван Дух Утешителем? Когда Отец отступит и Сын покинет, Дух не отступит, не покинет и неутешных утешит?

Но тут кончается наша вера и начинается наша надежда, такая новая, такая робкая, что мы почти не смеем говорить о ней словами, а только молимся вместе с Духом „воздыханиями неизреченными“. Тут наша последняя сыновне-покорная любовь к Отцу: „Авва Отче, не моя, а Твоя да будет воля“. Во всяком случае, эта, повторяю, неисповедимая тайна — не темная, а светлая, не демоническая, а божественная. Диавол не может омрачить Бога, но Бог может просветить Своим светом и Диавола — ту последнюю тьму, о которой сказано: „Свет светит во тьме, и тьма не объяла его“.

Во всем, что Вы говорите о моем представлении диавола, мне чувствуется какое-то глубокое, не столько метафизическое, сколько мистическое недоразумение. Как будто возражая мне, Вы все-таки со мною соглашаетесь и, как будто соглашаясь, Вы все-таки возражаете. В конце концов, я так и не могу понять, совершенно ли мы согласны, или совершенно расходимся. Вы соглашаетесь: «О, конечно, середина, плоскость, мещанская пошлость, позитивистическое небытие — есть Черт... Есть плоское человекобожество, когда человек с лакейским (я говорю: хамским) самодовольством ставит себя на место Бога. Тут нет полярной бездны, а середина». Это положение я принимаю целиком. А на вопрос, который Вы мне предлагаете: где же в таком случае не отраженная, не ложная, а истинная „полярная бездна“? — Вы сами отвечаете точно так же, как я: „на великих богоборцах (разумеется, таких святых богоборцах, как Иаков, боровшийся с Богом, Иов, роптав-

ший на Бога) почил Дух Святой, а не дьявольский... Бог любит таких богоборцев; тут есть бездна, но *одного из Лиц самого Бога*". И далее Вы излагаете учение о Троице так же, как я его излагаю: „Двойственность, две полярно противоположные бездны, о которых говорит Мережковский,— это не Бог и диавол, не доброе и злое начало, а два равно-святых, равно-божественных начала, примиряемых в Троичности. *Вне Троичности, вмещающей безмерную полноту, остается дух небытия, середины и пошлости*". Это ведь и значит: на долю диавола ничего не остается, кроме пошлости и плоскости; диавол сводится к плоскости *без остатка*; черт есть черт и сам Сатана, великий в своем ничтожестве, своем небытии — тот же черт, дух вечной плоскости. *Иного черта нет*, и нет иного противоположного Бога. Диавол — не противоположный Бог, не противоположная абсолютная истина, а абсолютная ложь, противоположная абсолютной истине, Богу. Человекобог не противоположный, а ложный Богочеловек; Антихрист — не противоположный, а ложный Христос. Ежели диавол сводится к плоскости без остатка, то так же точно сводится к плоскости без остатка и воплощение диавола — Человекобог, Антихрист. Как же Вы утверждаете: „Гордой идеи о человекобоге не сведешь к плоскости". Ежели не сведешь, то учение о Троице не истинно, а ведь Вы его только что приняли как истинное. Тут какое-то непостижимое для меня противоречие.

Вы совершенно справедливо замечаете, что Троичность — единственный и окончательный мистический исход из двойственности, из метафизического дуализма, то есть учения о двух равных и противоположных началах, добром и злом, светлом и темном. Об эту подводную скалу дуализма разбиваются все религии, кроме религии Троицы. Учение о Троице есть необходимое мистическое раскрытие метафизического монизма, необходимое мистическое преодоление метафизического дуализма. Три — Едино есть окончательная победа над соблазном Двух в Едином, окончательная победа религиозного монизма над религиозным дуализмом. Но, приняв учение о Троице и все-таки утверждая, что диавола не сведешь к плоскости, Вы это принятое Вами учение опро-

вергаете и возвращаетесь от побеждающего Единства к непобежденной двойственности, от монизма к дуализму.

„Вопрос о значении зла,— говорите Вы,— может получить *два* решения. Или диавол есть жалкая тварь, поднявшая раздор между Богом и миром во имя небытия, так как никакого бытия он утвердить не может, тогда в нем нет никакой бездны, а лишь середина, и в демонизме нет ничего соблазнительного. Или диавол — самобытное, предмирное, несотворенное начало, и тогда мы приходим к дуалистическому учению о двух вечных царствах, предстоящих нашему выбору". И Вы заключаете: „Мережковский еще не решил этой проблемы". Тут поистине, кажется, сам черт нас путает! Помилуйте, как же бы я мог, не решив этой проблемы о монизме и дуализме, принять учение о Троице, которое, по Вашему и моему признанию, есть окончательный мистический исход из дуализма в монизм, окончательная победа монизма над дуализмом? Как же бы я мог принять Триединство Божье, не приняв Единства и не отрекшись окончательно от всякой двойственности, вне Ипостасей Божеских? Нет, не только теперь, но уже и тогда, когда я писал „Л. Толстого и Достоевского", проблема эта была для меня решена. А то, что Вы считаете ее не решенной для меня, я могу объяснить лишь тогдашнею неясностью моего философского изложения. Но теперь вопрос не во мне, а в Вас. Как же Вы, приняв и выразив с такою, казалось бы, совершенно прозрачною ясностью единое учение о *Едином* Троичном Боге,— тем не менее утверждаете, что возможны *два* решения проблемы о диаволе, и продолжаете колебаться между этими двумя решениями, между монизмом и дуализмом. Я отказываюсь думать, что это только ошибка Вашего ума. Тут не в отвлеченных умственных выводах, а в реальных мистических переживаниях Ваших — какая-то для меня, повторяю, непостижимая тайна.

О моей собственной тайне, или, как Вы выражаетесь, о моем „секрете", вы предлагаете мне последний и самый важный вопрос, который возвращает меня к началу моего письма — к вопросу о единстве наших религиозных путей. „Есть какая-то тайна, которую Мережковский не в состоянии выразить, хотя

мучительно пытается это сделать. Не упирается ли он в неизреченное, постижимое *лишь в действии?*"

Прежде чем ответить на Ваш вопрос о моей *последней* тайне, которая еще только ведет меня к новому религиозному действию, я должен ответить на вопрос о моей *первой* тайне, которая уже привела меня к новому религиозному сознанию. Тайна эта почти две тысячи лет тому назад сделалась откровением; но откровение это ныне для нас опять сделалось тайной; это откровение и тайна о том, что человек Иисус, распятый при Пилате Понтийском, был не только Человек, но и Бог, истинный Богочеловек, Единородный Сын Божий, что „вся полнота Божества обитала в Нем телесно" и что „нет иного имени под небом, коим надлежало бы нам спастись".

Это *для нас всех* твердо, это незыблемо; это единственное, что мы приобрели окончательно и чего никогда не можем лишиться; это еще не все, но начало всего.

Мы могли бы спросить Вас: есть ли у Вас это начало всего? Мы не признаем за собою права требовать от Вас исповедания и за Вами признаем право не отвечать, по крайней мере, сейчас. Но рано или поздно Вам все-таки придется ответить на этот вопрос, который не мы, а Вы сами себе предложили Вашею статьею о новом религиозном сознании. И только Ваш ответ на этот вопрос решит и вопрос о том, один ли у нас путь. Мы уже предчувствуем, угадываем Ваш ответ, но сохрани нас Боже торопить Вас и этою торопливостью нарушать свободу Вашей веры и Вашего сомнения. Мы ведь знаем по собственному опыту, что современному человеку, который прошел „горнило сомнений" и для которого уже нет веры по преданию исторического христианства, что такому человеку, чтобы поверить во Христа, недостаточно правильно мыслить, знать о Христе,— ему нужно узнать самого Христа, как бы снова встретить Его на пути своем и снова узнать в Сыне Человеческом Сына Божьего. Это мгновенная точка, но в этой точке — Божья тайна, чудо Божье. Это зависит не от человеческого разума и не от воли человеческой. Нам точно так же, как первым исповедникам, „не плоть и кровь, а сам Отец Небесный" может открыть тайну о Сыне. Никто, кроме Отца, не может привести к Сы-

ну. Мы уже любим Вас в нем, а потому надеемся и верим, что эта великая тайна уже в Вас совершается.

Но повторяю и настаиваю, не столько, впрочем, для Вас, сколько для других, которые могли бы соблазниться преждевременностью нашего соглашения: только с этой, именно этой точки, с исповедания Христа как Богочеловека — и никак не ранее — может начаться подлинное религиозное единство наших путей. Если бы мы сошлись в ней, то все наши остальные совпадения оказались бы реальными; в противном случае — они только обман зрения, только метафизическое марево, обратное, опрокинутое, как в зеркале, ложное подобие. Тут, в самом деле, одна почти неуловимая черта, один волосок отделяет истинные глубины Божьи от их отражения в „зеркальной плоскости“, от ложных „глубин сатанинских“. Мы должны помнить это во избежание самой опасной и пагубной лжи.

Для примера возьму учение о Троице. *Метафизическим* понятием о Троице вовсе еще не обеспечено *мистическое* принятие Троицы Божественной. Отражая в ложном подобии все существо Божие, диавол отражает и Троичность Божеского Лица. Трем Ипостасям Божественным соответствуют три ипостаси демонические, о которых сказано в Апокалипсисе: первый зверь, второй зверь и лжепророк — нечистая троица. Величайший соблазн демонизма — непобежденный дуализм, двойственность (диавол равный Богу, *два Бога*) кощунственно раскалывает, раздваивает и удваивает Божественное Единство Троицы. Три вверху, в истине, и три внизу, в ложном, зеркальном подобии; удвоенное три — шесть. Каждая из трех Божеских Ипостасей есть соединение двух остальных, так что всю полноту Троицы можно выразить символическим числом 333. Повторенное в диавольском зеркале, удвоенное 333 дает 666. То же отношение дуализма, двойственности к троичности выражается и в ином сочетании этих символических чисел 2 и 3: 2 деленное на 3=666... Получается непрерывная дробь, „дурная бесконечность“, по выражению Гегеля, и первые три знака этой дроби образуют 666 — „число человеческое“ и „звериное“. Вот почему о том, кто пришел к Троице метафизиче-

ской, еще нельзя решить, пришел ли он к истинной или ложной, к Божеской или дьявольской Троице. Только тогда, когда дуализм окончательно побежден монизмом, то есть исповеданием Единого Бога Отца и Единородного Сына Божия — эта победа есть несомненное ручательство в принятии истинной, Божеской Троицы. Недостаточной ясностью и твердостью Вашего религиозного сознания в этой первой исходной точке — в исповедании Христа пришедшего во плоти, я объясняю Ваши колебания между монизмом и дуализмом, между Богочеловеком и Человекобогом.

Все это значит, что без христианства нельзя прийти к религии Троицы. Вы говорите: „Религия Мережковского — не историческое христианство и *не христианство*, так как слово это образовалось лишь от одной из Ипостасей, а религия Троицы, никем еще не раскрытая". Эти слова могут подать повод к опаснейшему для меня недоразумению, будто бы я считаю возможным религию Троицы без христианства. Но я считаю это *абсолютно невозможным*. Не без христианства, а через христианство — к религии Троицы. Именно догмат о Троице и связывает неразрывною связью историческое христианство с христианством апокалипсическим. Последнее не нарушает, а исполняет первое. Новое откровение есть не что иное, как движущее действенное откровение о Троице, которое осталось в историческом христианстве недвижным, бездейственным догматом, запечатленным источником. Не человеческий разум, не человеческая воля, а сам Дух воплощенное Богочеловечество, Грядущая Церковь Вселенская, Св. София, Премудрость Божья, „Жена, облеченная в солнце", сорвет семь печатей с этого запечатленного источника — и потекут „реки воды живой" — нового откровения. Но Церковь второго пришествия не может противоречить Церкви первого пришествия. Апокалипсическое христианство примет все предания, все догматы, все таинства, все откровения, всю святость исторического христианства. Все в нем — истина и нет ничего, кроме истины, но *не вся истина в нем одном.* Без исторического христианства нельзя прийти к христианству апокалипсическому. Без Христа Пришедшего нельзя прийти ко Христу Грядущему.

Христос Пришедший и Христос Грядущий — один и тот же Христос.

Только тот, кто принял Иисуса Христа, пришедшего во плоти, сможет отличить Христа от Антихриста. По преданию церкви, пришествие Антихриста будет заключаться в *смешении лжи с истиною.* Теперь, когда на наших глазах это смешение уже совершается, следует более, чем когда-либо, помнить слово нашего, по преимуществу нашего, апостола Иоанна, Сына Громов, слово, как меч, разделяющее ложь от истины:

Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире.

И вот наш последний ответ на Ваш вопрос: у нас путь один, ежели этот единый путь наш — Христов, тот самый, о котором говорит Господь: *Я есмь путь, истина и жизнь.* На этом, только на этом пути, мы Вас и ждем, и надеемся на Вас, и молимся, чтобы Вы скорее вступили на него и чтобы всем нам идти вместе с Вами от нашей первой тайны к нашей тайне последней, от нового религиозного сознания к новому религиозному действию.

Помоги Вам Господь, а Вы помогите нам!

Д. С. Мережковский

БОЛЬНАЯ РОССИЯ *

Избранные статьи

* Печатается по: Мережковский Д. С. Больная Россия. СПб., 1910.


Д. МЕРЕЖКОВСКІЙ
БОЛЬНАЯ РОССІЯ
1905
1910
1910
КНИГОИЗД
ОБЩЕСТВ ПОЛЬЗА

ЗИМНИЕ РАДУГИ

> **9 яиваря 1905 года иад Петербургом видиы были радуги. Великие события того дня связывались в иародиой молве с этим небесиым зиамением.**
>
> **Из будущей летописи**

У меня, должно быть, лихорадка. Не удивляйтесь же, что слова мои будут похожи на бред. Кто нынче не бредит? Вы к этому привыкли. И если все чаще слова здравомыслящих напоминают бред, то, может быть, в бреду окажется крупица смысла...

Ну, довольно. Предисловия вообще бесполезны. Лучше сразу начать. Только вот не знаю, как бы повежливее.

Моя ежедневная прогулка — в Летнем саду, мимо домика Петра Великого. Там на старых липах множество вороньих гнезд. Когда убийцы Павла I проходили ночью по средней аллее сада к Михайловскому замку, то поднялось такое карканье, что заговорщики боялись, как бы не проснулся спящий император. Вороны и надо мною каркают. Есть легенда, что эта вещая птица живет столетия. Может быть, некоторые из них помнят Петра.

И вот, в последнее время мне чудится в их карканье злое пророчество, то самое, за которое в 1703 году, при основании города, били кнутом, ссылали на галеры, рвали ноздри и резали языки: „Петербургу быть пусту".

„Три старых рыбака, живших до основания Петербурга в местах, где возник потом город, рассказывали в 1721 году, что за тридцать лет перед тем было такое наводнение, что вся страна до Ниеншанца была потоплена, и что подобные бедствия повторяются почти каждые пять лет. Поэтому первобытные жители невского прибережья никогда не строили там прочных жилищ, но небольшие рыбачьи хижины.

Как только, по приметам, ожидалась большая буря, крестьяне ломали свои хижины, а бревна и доски складывали, как плоты, и привязывали к деревьям; сами же, в ожидании убыли воды, спасались на Дудерову гору“ („Петербургская старина“ академика Пекарского).

Веря этим пророчествам, русские люди, насильно загнанные в „Парадиз“, говорили, что здесь жить нельзя, что город будет снесен водою или провалится в трясину.

Осенью 1905 года я как-то раз вечером шел по Невскому. Вдруг все электрические фонари потухли. Наступила темнота, словно черное небо обрушилось. Подростки-хулиганы засвистели пронзительно, и раздался звон разбитого стекла. По направлению от Аничкина моста к Литейной бежали черные толпы. Ковыляющая старушка-барыня со съехавшей набок шляпой закричала мне в лицо: „Не ходите, там стреляют!“ И мне, действительно, послышались или почудились выстрелы. Было страшно, как во сне. И вспомнился мне сон. Впрочем, снов рассказывать не следует. Только два слова. Черный облик далекого города на черном небе: груды зданий, башни, купола церквей, фабричные трубы. Вдруг по этой черноте забегали огни, как искры по куску обугленной бумаги. И понял я или кто-то мне сказал, что это взрывы исполинского подкопа. Я ждал, я знал, что еще миг — и весь город взлетит на воздух, и черное небо обагрится исполинским заревом.

Я уехал в том же году, когда уже почти все было кончено; вернулся этою осенью, в самое сердце реакции, в самое сердце холеры. Ни той, ни другой не видно конца. Каждый день на страницах „Нового времени“ печатается Memento mori: * „Заболело 17 человек, умерло 9“. Кажется, на всем Петербурге, как на склянке с ядом, появилась мертвая голова. Сведущие люди уверяют, будто бы холера никогда не кончится и устье Невы сделается необитаемым, как устье Ганга: „Петербургу быть пусту“.

Но ни холера, ни реакция, ни чудовищные слухи о самоубийцах, об „одиноких“, о „кошкодавах“, ни даже эта страшная тоска на лицах,— о, конечно,

---

* Помни о смерти *(лат.)*.

всероссийская, но которая именно здесь, в Петербурге, достигает каких-то небывалых пределов безумия (никто не замечает своего и чужого безумия, кажется, потому, что все вместе потихоньку сходят с ума),— нет не все это, а что-то иное заставляет меня испытывать вновь знакомое „чувство конца“, видеть в лице Петербурга то, что врачи называют facies Hyppocratica *, „лицо смерти“.

„Я замечал,— говорит Печорин в лермонтовском «Фаталисте»,— что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы“.

Главное, что поразило меня в Петербурге, это именно то, что лицо его ничуть не изменилось. Петербург тогда и теперь — как две капли воды. Правда, весь он осунулся как-то, одряхлел, постарел собачьей старостью. Но ничего не убавилось и не прибавилось. Только электрические трамваи, кинематографы, да призрачный двойник московского Василия Блаженного. Но ведь этого мало даже для октябристов и мирнообновленцев.

Надо прожить несколько лет в Европе, чтобы почувствовать, что Петербург все еще не европейский город, а какая-то огромная каменная чухонская деревня. Невытанцевавшаяся и уже запакощенная Европа. Ежели он и похож на город иностранный, то разве в том смысле, как лакей Смердяков „похож на самого благородного иностранца“. Как в частушке поется:

Если барин при цепочке,
Это значит — без часов.
Если барин при галошах,
Это значит — без сапог.

Да, Петербург не изменился, и в этой-то неизменности, неизменяемости — „лицо смерти“.

Шлепая по невероятной, черно-коричневой жиже среди невероятного, черно-желтого тумана, я думаю: точь-в-точь, как три года назад; три года — три века; нам казалось, что произошли в них бóльшие события, чем в смутное время, чем петровская реформа и двенадцатый год. Но вот оказывается, что ничего

* Букв.: лицо Гиппократа *(лат.)*.

не произошло. Было, как бы не было. Да уж полно, было ли? Все голоса Петербурга вопят: не было! Но я знаю, помню. Мне надо сойти с ума, чтобы забыть. Тут-то и начинается мой бред, мой ужас, мое „чувство конца“. И тут же вспоминается мне Достоевский:

„Петербургское утро, гнилое, сырое и туманное... Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: а что, как разлетится этот туман и уйдет кверху,— не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красоты, бронзовый Всадник на жарко-дышащем, загнанном коне?.. Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон? Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится,— и все вдруг исчезнет“.

Было, как бы не было.

Недавно ездил я в Москву. Это наш древний паломнический путь, освященный первою книгою русской свободы — радищевским „Путешествием из Петербурга в Москву“. Сразу очнулся от бреда, как будто из подземной темницы вырвался на Божий свет.

Люди, как люди; город, как город. Веселые санки скрипят по крепкому снегу, и можно не бояться, что завтра превратится он в черную слякоть. Румяные торговки у Спасских ворот, зазывая в лавочки, предлагают, должно быть, точно такие же, как в XVII веке, вязаные рукавички. И, кажется, пахнет в воздухе старозаветным славянофильским бубликом. Вот-вот встретишь на углу И. С. Аксакова, который скажет мне, как некогда говаривал Достоевскому: „Первое условие для освобождения в себе плененного чувства народности — возненавидеть Петербург всем сердцем своим и всеми помыслами своими“. Я с ним поспорю, поругаюсь, а все-таки почувствую в нем какую-то родную бабушкину сказку, бабушкину правду. Несмотря на чудовищный декадентский Метрополь и горячечный, розово-фиолетовый блеск электрических солнц на белокаменных стенах Китай-города, лицо Москвы все еще напоминает лицо пушкинской няни, Арины Родионовны — „голубка дряхлая моя“. Но что-то есть в этой дряхлости юное, вечное, что дает понять, что не отречется она от того, что здесь

было. И если Петербург скажет: не было,— то камни Москвы возопиют: было! было!

И вот еще что. Как это ни странно, но в некоторых уголках Кремля я чувствую себя, как на старых площадях Пизы, Флоренции, Перуджии: недаром строили эти соборы и башни, вместе с русскими каменщиками, итальянские зодчие. Я здесь ближе к подлинной святой Европе, чем в Петербурге. И пусть это первое прикосновение русского духа к духу всемирному — слепое, слабое, сонное, для нас теперь уже невозможное, но оно все-таки правдивое, без тех двусмысленных петербургских „кумплиментов" („Приклады како пишутся кумплименты". Спб., изд. 1717 г.), о которых говорит Антиох Кантемир в своих виршах:

Иной бедный, кто сердцем учиться желает,
Всеми силами к тому скоро поспешает;
А пришед кумплиментов увидит немало,
Высоких же наук там тени не бывало.

Ну, тень-то, пожалуй, и была, но именно только тень, сон: „проснется, кому все это грезится,— и все вдруг исчезнет".

Из русской земли Москва выросла и окружена русской землей, а не болотным кладбищем с кочками вместо могил и могилами вместо кочек. Москва выросла — Петербург выращен, вытащен из земли или даже просто „вымышлен".

„В 1714 году Петр задумал умножить Петербург; заметив, что в городе медленно строились дома, царь запретил во всем государстве, кроме Петербурга, сооружать каменные здания, с угрозою в противном случае разорения имения и ссылки. Постановлено было на всех судах, приходивших в Петербург через Ладожское озеро, также на всех подводах привозить камень и сдавать его обер-комиссару. Кто не исполнял этого положения, с того доправлялось еще за каждый камень по гривне".

Еще бы не „умышленный" город!

Рабочие, которых сгоняли, как скот, со всех концов России, пели заунывную песню:

Подымались добры молодцы,
Добры молодцы, люди вольные,

Все ребятушки понизовые
На работу государеву.

Один из этих вольных людей на Васильевском славном острове корабли снастит и на вопрос красной девицы, зачем он это делает, отвечает:

Что ты, глупая, красна девица,
Неразумная дочь отецкая:
Не своей волей корабли снащу,
Не своею я охотою,—
По указу государеву,
По приказу адмиральскому.

Воплощение этой „не своей воли“ и есть Петербург.

При возведении первоначальных укреплений нужна была земля, а ее поблизости не находилось: кругом была только трясина, покрытая мхом; землю таскали к бастионам из дальных мест в старых мешках, рогожах или даже просто в полах платья. Люди оставались без хлеба, без крова и мерли, как мухи. Покойников не успевали хоронить и волокли, как падаль, в общую яму. Сооружение Петропавловской крепости стоило жизни 100 тысяч переселенцев. О Петербурге сказано:

Богатырь его построил,
Топь костями забутил.

Недавно, по поводу холеры, один врач в городской думе заметил с цинической, но живописной грубостью, что „весь Петербург стоит на исполинском нужнике“.

Красуйся, град Петра, и стой
Неколебимо, как Россия!

Ужасно то, что этот исполинский нужник — исполинская могила, наполненная человеческими костями. И кажется иногда в желтом тумане, что мертвецы встают и говорят нам, живым: „Вы нынче умрете!“ — как сказал Печорин Вуличу, заметив на лице его „странный отпечаток неизбежной судьбы“.

«Медный Всадник» — „петербургская повесть“ — самое революционное из всех произведений Пушки-

на. „Пушкин представлял поэму в цензуру,— говорит Ефремов,— но разрешения на напечатание не последовало". Если бы поэму поняли, как следует, то, чего доброго, и в наши дни не последовало бы разрешения.

Под видом смиренной хвалы тут становится дерзновенный вопрос о том,

> чьей волей роковой
> Под морем город основался,—

обо всем „петербургском периоде русской истории".

> О мощный властелин судьбы!
> Не так ли ты над самой бездной
> На высоте уздой железной
> Россию вздернул на дыбы?

„Дыбой" называлось орудие пытки, на котором били кнутом. Сын Петра, царевич Алексей, за два дня до смерти, вздернут был в застенке на дыбу — „дано 25 ударов" — и спрашиван о всех его делах, и по расспросам и с розыску, сказал: „Учитель-де Вяземский в разговоре с ним, царевичем, говаривал: Степан-де Беляев с певчими при отце твоем поют: Бог, идеже хощет, побеждается естества чин; а то-де все поют, маня (льстя) отцу твоему; а ему-де то и любо, что его с Богом равняют".— „Бог, идеже хощет, побеждается естества чин" — это значит: волею Бога побеждаются законы природы, совершается чудо. Петербург и есть такое чудо. Здесь „чин естества" побежден „чудотворным строителем" — не человеком, а „богом". Феофан Прокопович называл его „христом", а раскольники называли „антихристом". Петербург — вечная дыба, на которой пытают,— Христос или Антихрист?

Достоевский понял, что в Петербурге Россия дошла до какой-то „окончательной точки" и теперь „вся колеблется над бездной".

> ... над бездной...
> Россию вздернул на дыбы.

Но нельзя же вечно стоять на дыбах. И ужас в том, что „опустить копыта" — значит рухнуть в бездну.

И тут уже дерзновенный вопрос переходит в дерзновеннейший ответ, в безумный вызов:

Добро, строитель чудотворный!
. . . . .
Ужо тебе!..

Это и есть первая точка нашего безумия, нашего бреда, нашего ужаса: Петербургу быть пусту.

И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...

Лицо бога обращается в лицо демона. И все мы, как этот „безумец бедный", бежим и слышим за собой,—

Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.

Бежим, как мыши от кота. Но сначала кот ловит мышей, а потом кота мыши хоронят. „Мыши кота хоронят" — лубочная картинка на кончину Петра I, а может быть, и на конец „всего петербургского периода русской истории".

„По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели, и сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели". Это Акакий Акакиевич. Мертвец ухватил за воротник „одно значительное лицо": „А, так вот ты, наконец... Я тебя того"... — „Ужо тебе!"

Навстречу Медному Всаднику несется Акакий Акакиевич. И не он один. Бесчисленные мертвецы, чьими костями „забучена топь", встают в черно-желтом, холерном тумане, собираются в полчища и окружают глыбу гранита, с которой Всадник вместе с конем падает в бездну.

В «Призраках» Тургенева тотчас же после видения Петербурга возникает иное видение: „Что-то изжелта-черное, пестрое, как брюхо ящерицы,— не туча и не дым — медленно, змеиным движением, двигалось над землей... Гнилым, тлетворным холодом не-

сло... От этого холодка тошнило на сердце, и в глазах темнело, и волосы вставали дыбом. Это сила шла: та сила, которой нет сопротивления, которой все подвластно, которая без зрения, без образа, без смысла — все видит, все знает и, как хищная птица, выбирает свои жертвы, как змея, их давит и лижет своим мерзлым жалом..."

„Громадный образ закутанной фигуры на бледном коне мгновенно встал и взвился под самое небо..."

Тут, конечно, Тургенев вспомнил Апокалипсис: И я взглянул, и вот Конь Бледный и на нем всадник, которому имя смерть.

Несколько лет назад в один морозно-ясный день появились вокруг низкого солнца над Петербургом какие-то бледные радуги, похожие на северное сияние. Видевшие помнят ли или забыли, как забывают ныне все, что было? Было, как бы не было.

Когда я смотрел на это знаменье, то казалось, вот-вот появится „Конь Бледный и на нем всадник, имя которому смерть".

Смерть России — жизнь Петербурга; может быть, и наоборот, смерть Петербурга — жизнь России?

Глазами смотреть будут и не увидят; ушами слушать будут и не услышат. Не увидят Всадника на бледном коне, не услышат трубного голоса: Петербургу быть пусту.

КОНЬ БЛЕДНЫЙ

I

Русское освобождение бессловесно. Ни единым звуком не отразилось оно в русском слове, достойном этого имени. „Бесы“ Достоевского — не отражение прошлого, а видение будущего — та тень, которая иногда отбрасывается великими событиями вперед. К тому же тень искажающая, карикатура, внушенная такою злобою, что хочется спросить: где же всем бесам бес — уж не в самом ли Достоевском?

Но карикатура исполинская. А прочее — смердяковское зеркальце, вздумавшее отразить Божью грозу.

Так, вероятно, и должно быть; так и бывает всегда. Океан с берега кажется плоским; чтобы поднялся горизонт, нужно самому подняться; отойти от великого, чтобы измерить величие. Столетие нужно было Петру, чтобы отразиться в «Медном Всаднике», и полстолетия — двенадцатому году, чтобы отразиться в «Войне и мире».

Хорошо или дурно русское освобождение, оно, во всяком случае, не меньше, чем Петр и двенадцатый год. Даст Бог, дождется и оно великого слова.

А пока помолчим. Среди этого вольного и невольного молчания единственный звук — маленькая книжечка, отрывок отрывка, несколько разрозненных листков дневника — «Конь бледный».

Книжечка маленькая, бедненькая, беленькая, точно от испуга вся побелевшая, съежившаяся, спрятавшаяся под шапкой-невидимкой, с таким выражением лица, как будто хочет сказать: только бы меня не заметили, только бы мне прошмыгнуть.

Я назвал книжку отрывком,— вернее было бы назвать ее оглодышем. Глодала ее, однако, не старая

добрая цензура правительственная, а новая, освободительная. Уже при первом появлении «Коня бледного» в «Русской мысли», там вымыли, выстирали все опасные пятна до неприличных дыр. В своем настоящем виде книжечка напоминает загадочные картинки или помпейскую живопись. А все-таки давно не появлялось в России такой смелой книги с такою трусливою внешностью.

А пожалуй, и трусить было нечего. В вопросе о том, кому книга опаснее — сам черт ногу сломит: ломанье же чертовой ноги кое-кому всегда выгодно. Нам такие книги вообще не по зубам. Пожевали, не раскусили и выплюнули.

Сначала как будто и задымило, затрещало где-то; казалось, вот-вот выкинет. Но залили вовремя.

Успела, впрочем, одна проницательная сибилла догадаться, что «Конь бледный» — произведение известной декадентской писательницы, которая, не имея никакого понятия о русском терроре, всю эту чепуху высосала из собственного пальца. Вот что значит не в бровь, а в глаз. Сибилла, по крайней мере, утешила, а остальные плели такой вялый вздор, что теперь даже вспомнить нет никакой возможности.

Наконец, самим стало скучно, да и жалко старых зубов. А тут еще подоспели дела важнейшие: еврейский анекдот Чирикова, „национальное лицо“ Струве, «Синяя птица», «Вехи» — ну, словом, хлопот полон рот.

Так и забыли о «Коне бледном». Как ключ пошел ко дну. И напрасно «Шиповник» побелел от страха.

В литературе забыли, ну, а в жизни? Забытое литературой не вспомнит ли жизнь?

Ответить на этот вопрос мне труднее, чем кому-либо, потому именно, что в книге чересчур много жизненного, близкого не мне одному. Это наше, но не от нас, а к нам идущее, как грозная лавина, катящееся, как сокрушающее бремя ответственности, падающее. Не оказаться бы нам теми неискусными заклинателями, которые, вызвав духа, не умеют с ним справиться.

Мы роем два подземных хода, не зная, не видя друг друга: каменная толща между нами, но уже звенят удары с обеих сторон; рано или поздно встретимся.

Если бы спросили меня сейчас в Европе, какая книга самая русская и по какой можно судить о будущем России, после великих произведений Л. Толстого и Достоевского, я указал бы на «Коня бледного». Это покажется преувеличенным, но, может быть, не таким чрезмерным, если помнить, что речь идет не столько о книге, сколько о том, что за нею.

Может быть, уже и сейчас для кое-кого это не книга, а острый нож в сердце, своего рода азефовщина, хотя и в ином, обратном, но еще более страшном смысле. Пусть там — конец старого, здесь — начало нового: такое начало для многих страшнее конца.

И что им до того, что книга в литературе не сделает шума? Когда от шума наших печатных листов останется не более, чем от шума прошлогодних листьев,— не перестанут звучать голоса человеческой совести, пробужденные этою книгою, подобно гулу от камня, брошенного в воду.

Не „что я писал,— писал“, мог бы сказать написавший «Коня бледного», а „что я сделал,— сделал“.

II

Художник ли он?

Искусство ревниво к действию. Искусство требует совершенного созерцания. А если не метафизически, то эмпирически совершенное созерцание противоположно действию. Это не должно быть так; это будет иначе; но сейчас так, и с этим нельзя не считаться. Нельзя водить по струнам Аполлоновой скрипки мечом, как смычком: или меч притупится, или струны оборвутся.

Искусство — искус, подвиг всей жизни; а писания Ропшина *,— это слишком чувствуется в них самих,— только отдых между двумя иными искусами, остановка между двумя иными действиями. Песня воина.

Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть бойцом.

* Ропшин — псевдоним Б. В. Савинкова *(примеч. С. Н. Савельева).*

Вот опасность Ропшина: от одного берега отплыл, к другому не пристал; полусозерцатель, полудеятель; земноводное, оборотень. Это, впрочем, повторяю, не гибель, а только опасность. Ропшин человек смелый, а смелых Бог хранит.

И все-таки иногда кажется, что для него самого было бы лучше, если бы книга осталась ненаписанной. Он увидел в ней слишком многое, чего нельзя забыть. А не забыв,— не забудешь; не забывшись,— не сделаешь.

Для него самого, но не для нас. Ему урон — прибыль нам. В книге есть то, что не всегда бывает в величайших созданиях искусства. Последняя глубина созерцания — только в последней глубине действия. Брут знал о Цезаре то, чего не знает Шекспир. Будь семи пядей во лбу говорящий о деле,— не сделавший не скажет того, что сделавший.

„Помню, я сидел в тюрьме и ждал казни. Днем я лежал на железной койке и читал прошлогоднюю «Ниву»... Как-то не верилось в смерть. Было какое-то странное равнодушие. Не хотелось жить, но и умирать не хотелось. Не тревожил вопрос, как прожита жизнь; не рождалось сомнение, что там — за темною гранью. А вот помню: меня занимало, режет ли веревка, больно ли задыхаться. И часто вечером, после поверки, когда на дворе затихал барабан, я пристально смотрел на желтый огонь моей лампы, стоявшей на покрытом хлебными крошками тюремном столе. Я спрашивал себя: нет ли страха в душе? И отвечал себе: нет. Потому что мне было все — все равно...

А потом я бежал".

У ко́го не было веревки на шее, тот не написал бы так. Может быть, написал бы художественнее, трогательнее, страшнее, как Л. Андреев — «Семь повешенных»,— но н е т а к.

Красота слова — красота дела. Может быть, говорить о ней, любоваться ею грешно, но таков уж первородный грех всякой эстетики, всякой словесности.

Мы все — эпигоны, последыши, александрийцы, собиратели недожатых колосьев; слово для слова, а не для дела — вот наша „бледная немочь". Чтобы вылечиться, надо вернуться к делу. Хорошо говорит только тот, кто хорошо делает.

Ничего лишнего, ничего украшающего. Красота слова — простота дела.

И как отдыхаешь на этой классической простоте от сложности дурного вкуса, на этой горной ясности — от болотной мглы «Навьих чар». Как радуешься, что снова понятен русский язык; не нужно чувствовать себя дураком, ломая голову над загадками, которые, разгадав, видишь, что и разгадывать не стоило.

Деловая точность, сжатость, мастерство тех сокращений, которые в живописи называются ракурсами и требуют наибольшей силы кисти,— таковы особенности ропшинского языка. Слова вылетают, как искры, из-под кующего молота.

„В городе едкая пыль и смрад. По пыльным улицам тащатся вереницы ломовиков. Тяжело грохочут колеса. Тяжело везут тяжелые кони. Стучат пролетки. Ноют шарманки. Звонко звонят звонки конок".

Это показалось бы некогда декадентством; но теперь это вошло в язык, привилось к нему, как пушкинская простота и толстовская искренность.

„Мы сидим в грязном трактире «Прогресс». Хрипло гудит машина. В синем дыму белеют фартуки половых".

Не тот же ли это самый трактир, в котором „русские мальчики" Достоевского ведут апокалипсические разговоры? Да и весь «Конь бледный» — не воплощенное ли видение Достоевского? Кого он звал, те и пришли. У Достоевского геометрия тел, у Ропшина тела; там — будет, здесь — было. Никакой современной книги не прочел бы Достоевский с таким негодованием и любопытством, как этой; ни от какой не почувствовал бы так, что яблочко от яблони недалеко падает.

„Динамит сильно пахнет аптекой, у меня по ночам болит голова... А в сердце святые слова: Я дам тебе звезду утреннюю".

Вот русский стиль начала XX века, как «Бедная Лиза» — XIX. Запах динамита, смешанный с апокалипсическим ладаном. Один волосок отделяет этот ужас от пошлости. Слава Богу, что книга не зачитана!

Печать живого — печать смеха. Среди нас, увы, редчайший дар. Кажется, нам легче умереть, чем усмехнуться. Кто перечтет прелестный рассказ «Не

иначе,— кадеты»... или Федора о „солидарной“, тот согласится, что со времени Чехова никто не смеялся так, а если признак душевного здоровья — прощающий смех, то и никто не был так здоров.

Достоевский, Ницше, декадентство, символизм, мистицизм, все прошло по этой душе, как вода по кремню. Отточило, но не разрушило; здоровье осталось здоровьем, кремень кремнем. И опять — слава Богу!

III

В маленьком нормандском городке, на берегу океана, против окон рыбачьего домика, где я живу,— городская школа. Я каждый день слышу, как учат детей петь «Марсельезу». Точно так же, как в русских гимназиях учили нас петь „Боже, царя храни“. Каждый день слышу и все не могу привыкнуть. Удивительна эта песнь кровавого бунта, распеваемая детскими голосками, как почти колыбельная песенка, республиканское баюшки-баю.

Революция сделалась республикой, насилие — свободой, бунт — послушанием, кровь, пролитая на площади,— кровью, льющейся в жилах детей.

Так было и будет всегда.

„Убить всегда можно“,— говорит Жорж, русский террорист, герой «Коня бледного». Дети в школе поют — и броненосцы, и дальнобойные орудия, и военные аэропланы твердят: „Убить всегда можно“.

Кому и во имя чего можно убить,— иногда меняется, но что всегда можно — остается неизменным.

Это основная, хотя неписаная, статья всех законодательств; краеугольный, хотя невидимый, камень государственного права. Выньте этот камень, и здание рушится. Нет насилья — нет и закона; нет закона — нет и государства. Никто никогда не говорит, что это так; но все всегда делают, чтобы это было так.

Все государственники — бывшие революционеры; все революционеры — будущие государственники. От Робеспьера до Наполеона один шаг; правда, нужно быть Наполеоном, чтобы сделать этот шаг. Всякая

государственность — застывшая революция; всякая революция — расплавленная государственность.

Законное насилье для нас почти неощутимо, потому что слишком привычно. Нельзя не дышать; дышим и законодательствуем; дышим и насилуем, проливаем кровь. Это ежедневное, ежечасное, ежесекундное кровопролитие так же безболезненно, как правильное движение крови в жилах. Эта по капельке сочащаяся или только испаряющаяся кровь бесцветна, как воздух, безвкусна, как вода.

Но стоит ринуться толпе к Бастилии уже не с детской «Марсельезой»,— и привычное становится необычайным; вкус крови — острым, лакомым или отвратительным; утверждение: „убить всегда можно",— недоумением: когда можно и когда нельзя?

Самое опасное для государства во всех революциях — не насилие, а вот этот вопрос о возможности, о святости насилия, т. е. о самом бытии государственном, неосторожное прикосновение к тому Соломонову перстню, в котором заключен грознейший из демонов бунта. Тысячи насилий, тысячи убийств невиннее перед лицом государства, чем этот вопрос, произнесенный шепотом.— „Только не прикасайтесь к этому, не будите этого, не ворошите,— тут место заклятое, проходите мимо. *Circulez, messieurs, circulez*!" — как французские сержанты,— „честью просят" нас все государственники и все революционеры.

Во всякой революции наступает такая решительная минута, когда кому-то кого-то надо расстрелять, и притом непременно с легким сердцем, как охотник подстреливает куропатку. А если возникает малейшее сомнение, то все к черту летит,— революция не удалась.

Вопрос о насилии, метафизический, нравственный, личный, общественный, возникал во всех революциях. Но ни в одной не обнажалось его значение религиозное с такою неотразимою ясностью, с такою режущею остротою, как в русском освобождении. И это вовсе не потому, что мы избранники. А просто времена уже не те. Наступило лето — побелели жатвы. Можно, конечно, и теперь, после «Войны и мира», «Преступления и наказания», стрелять в людей, как в куропаток,— но уже нет-нет, да и заскребут на сердце кошки. Соломонов перстень раз-

бит — ие спаяешь; вырвался из иего демои. Вот, кажется, главиая причина того, что русское освобождеиие не удалось.

Не так уж мы, в самом деле, бездарны; ие боги горшки обжигают. Если бы мы шли определеино и сознательио от одиого государствеиного порядка к другому, от известиого к иеизвестному, то, по всей вероятиости, давио уже были бы у пристаии. Но мы отплыли от всех берегов и пустились в открытое море, в поисках Града Божьего. Немудрено, что потерпели крушеиие.

Здравый смысл мог бы посмеяться над иами: ловили журавля в иебе и выпустили синицу из рук; захотели „того, чего ие бывает иа свете“, и получили шиш.

Но последний суд иад всемириой историей ие всегда прииадлежит здравому смыслу. И ие ему — лучший, потому что последний, смех.

Кто знает, может быть, величие русского освобождеиия заключается именно в том, что оио ие удалось, как почти никогда ие удается чрезмериое; ио чрезмериое сегодня — завтрашняя мера всех вещей. Может быть, величие русского освобождеиия в том, что не промеияло оно своего первородства иа чечевичиую похлебку.

В древней аитологии есть иадгробная надпись: „Потерпевший крушеиие на этом берегу мореплаватель говорит тебе: подиими паруса; ветер, погубивший иас, умчал в море стаю кораблей“.

Не должиы ли мы сказать освобождеиию грядущему: подыми паруса.

IV

„Убить всегда можио“ — ответ иа вопрос: „если любишь, можио тогда убить или иельзя?“

Спрашивает об этом террориста Жоржа его противоположиый двойник, террорист Ваия. Жорж и Ваия — два воплощеиия одиого духа, две стороиы одиого лица,— как бы Иваи Карамазов и Алеша русской революции. В их противоположиости, в их соедииеиии — будущее.

— „Убить всегда можио.

— Нет, не всегда. Нет, убить — тяжкий грех. Но вспомни: нет больше той любви, как если за други свои положить душу свою. Не жизнь, а душу. Пойми: нужно крестную муку принять; нужно из любви, для любви на все решиться. Вот я живу. Для чего? Может быть, для смертного моего часа живу. Молюсь: Господи, дай мне смерть во имя любви. А об убийстве ведь не помолишься. Убьешь, а молиться не станешь... И ведь знаю: мало во мне любви, тяжел мне мой крест... Как прольешь кровь? Как нарушишь закон? А проливаем и нарушаем... Верую во Христа, верую. Но я не с Ним. Недостоин быть с Ним, ибо в грязи и крови.

— Так не убий. Уйди.

— Как можешь ты это сказать? Как смеешь? Вот, душа моя скорбит смертельно. Но я не могу не идти, ибо я люблю. Если крест тяжел,— возьми его. Если грех велик,— прими его. А Господь пожалеет тебя и простит.— И простит,— повторяет он шепотом".

И, когда уже идет на убийство, вопрос этот возвращается, повторяется, как однообразный напев.

— „Ну, Жоржик, прощай. Навсегда прощай. И будь счастлив.

— Ваня, а не убий!?

— Нет, Жоржик, нет.

— Это ты говоришь?

— Да, я говорю. Чтобы потом не убивали. Чтобы потом люди по Божьи жили, чтобы любовь освящала мир.

— Это кощунство, Ваня.

— Знаю. А не убий?.."

„Не убий", противопоставленное как последнее „нет" закона последнему „да" любви — разве не кощунство?

„Я исполнил мой долг,— пишет он из тюрьмы перед казнью.— Жду суда и спокойно встречу приговор. Может быть, тебе странно, что я говорил о любви и решился убить, т. е. совершил тягчайший грех против людей и Бога. Я не мог. Будь во мне чистая и невинная вера учеников, было бы, конечно, не то. Я верю: не мечом, а любовью спасется мир, как любовью он и устроится. Но я не знал в себе силы жить во имя любви и понял, что могу и должен во имя ее умереть".

Умереть — убить. Убить другого — самому умереть вечною смертью, положить не жизнь, а душу свою за любовь.

„У меня нет раскаянья, нет и радости от совершенного мною. Кровь мучит меня, и я знаю: смерть не есть еще искупление. Но знаю также: „Аз есмь Истина, и Путь, и Живот".— Люди будут судить меня.— Кроме их суда будет, я верю, суд Божий. Мой грех безмерно велик, но и милосердие Христово не имеет границ".

Жорж, читая это письмо, счастлив, как будто знает, что Ваня спасен,— и его, Жоржа, еще не любящего, не верующего, своею любовью и верой спасет...

„Светлым праздником, торжественным воскресением звучат пророческие слова:

„От престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось".

„Я счастлив: да, совершилось".

Кощунство,— скажут люди, религиозно оправдывающие противоположное государственное насилье. Что в их устах само слово о кощунстве — кощунство,— в этом нет сомнения. Но ведь не только им, а и Ване „убий" и „не убий" кажутся двумя равными кощунствами.

В чем же дело? Откуда этот вопрос? И почему у обеих сторон одинаковое забвение всемирной истории? Вот уже почти два тысячелетия, как люди только и делают, что убивают во имя Христа, и видят в этом не кощунство, а святость. Свят Сергий Радонежский, благословляющий воинов; свят Александр Невский, растопивший лед кровью; почти свят Суворов, при взятии Праги наваливший груды на груды человеческих тел. И мы, грешные, до сих пор чувствуем, что эти святые были святы,— иначе, нет у нас родины, нет прошлого, нет будущего.— А никому из них в голову не приходило спрашивать: можно ли воевать-убивать во имя Христа? Еще бы нельзя, когда свято.

Но вот люди без роду, без племени, сегодняшние убийцы, завтрашние висельники спрашивают о кощунстве там, где святые не спрашивали; видят предел святости там, где святые не видели. Не когда и за что, не кому и кого можно,— а можно ли вообще

когда бы, за что бы, кому бы и кого бы то ни было убивать во имя Христа,— спрашивает Ваня.

И единственные два ответа — государственно-революционное „убий“, „разрешение крови по совести“ и мнимо-христианское, подлинно-буддийское, толстовское, духоборческое „не убий“, „непротивление злу насилием“ — одинаково плоски, нерелигиозны, кощунственны. В обоих ответах глубина вопроса не услышана. Как будто спрашивающий не знает, что нельзя убить, что убийство неискупимый, „тягчайший грех против людей и Бога“, вечная погибель; но вместе с тем знает он, что надо убить, надо погибнуть, принять грех, „положить не жизнь, а душу свою за любовь“, в меру любви; — если же мера любви его — не жизнь, а смерть: умереть — убить,— то это не его вина: он больше любить не может. Кто любит больше, пусть первый бросит в него камень.

Н е л ь з я и н а д о. Н а д о и н е л ь з я. Весь вопрос в том, как выйти из этого противоречия.

Это не противоположность добра и зла, закона и преступления, кощунства и святости, а противоречие в самом добре, в самом законе, в самой святыне. Это, может быть, не только человеческая, но и божественная антиномия Ветхого и Нового Завета, Отца и Сына.

„Цепь неразрывная. Нет мне выхода, нет исхода. Иду убивать, а сам в Слово верю, поклоняюсь Христу. Больно мне, больно...“

Пусть боль не искупает, не оправдывает; — но, с такою болью кто шел ко Христу? С такою болью и с такою надеждою?

Светлым праздником, торжественным воскресением звучат пророческие слова: „От престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось“.

„Я счастлив: да, совершилось“.

Пусть это кощунство; — но с таким кощунством и с такою жаждою святости кто верил во Христа?

Да, вот что страшнее всего: н е б ы в а л о е. Во всяком страдании человек может утешиться: не я первый,— это было и с другими людьми до меня. Но этого утешения для Вани уже нет. Того, чем он страдает, не испытывала еще ни одна душа человеческая. Он один, он первый. Без опыта, без помощи. Гибнет или спасается — за свой собственный страх.

И не поможет ему вся мудрость мудрецов, вся святость святых. Спрашивает — и люди молчат, небо молчит, как будто само Слово молчит, может быть, потому, что не исполнились еще времена и сроки, чтобы ответить. Но и замолчать вопрос, уйти от него уже нельзя, некуда — поздно.

„Исхода нет",— говорит Ваня. Но знает, что есть или будет исход, хотя, может быть, более страшный для человеческого разума, чем сама безысходность. Он также знает, что разум — не все, что, „кроме разума, есть еще что-то, да шоры у нас на глазах — не видим, не знаем".

На религиозный вопрос о насилии может ответить не разум, а только это именно „еще что-то", большее, чем разум.

„Трудно в чудо поверить. А если в чудо поверишь, то уже нет вопросов. Зачем насилие тогда? Зачем меч? Зачем кровь? Зачем „не убий"? А вот нету в нас веры. Чудо, мол, детская сказка. Но послушай и сам скажи, сказка или нет".

И Ваня читает Жоржу Евангелие о воскрешении Лазаря, о воскресении Христа.

Вопрос о насилии — вопрос о чуде.

Государственный порядок — продолжение порядка естественного; законы государственные — продолжение законов природы: государство так же естественно, природно человеку, как пчеле — улей, муравью — муравейник. Закон государственный — звено в той цепи причинности, необходимости, которую разум человеческий считает своим собственным верховным законом. Нельзя мыслить разумно, вне закона причинности; нельзя жить разумно, вне закона государственного. Но, если, кроме разума, есть „еще что-то", то и кроме государства. Выход из порядка естественного, разумного, необходимого, государственного, перерыв в цепи причинности и есть чудо. Отрицание насилия государственного, отрицание необходимости и есть утверждение чуда. Крайнее насилие природы — смерть, крайнее насилие человеческое — убийство. „Убить всегда можно",— говорит закон человеческий вместе с природою. Не убьешь — не проживешь. Сказать живущему: не убий — так же трудно, как сказать умершему: воскресни. Победить насилие — значит победить смерть.

Только смертью смерть Победивший, Воскресший и Воскрешающий может сказать: не убий; — может упразднить насилие в свободе, царство от мира сего в царстве Божьем, государство в Церкви.

Вопрос о чуде — вопрос о Церкви. Церковь — или ничто, „гнусный обман жрецов“, или непрестанное, очевидное, всемирно-историческое чудо, ибо Церковь совершается Таинством, а Таинство — чудом. Отношение насилия к свободе, необходимости к чуду, есть отношение государства к Церкви.

Но вопросы эти уже за пределами «Коня бледного». Он только подходит к ним и через них — к нам, потому что мы — воплощенный вопрос о Церкви.

Достоевский все это предвидел. Но лишь предвидел, а не испытал. Испугался и спрятался. В религиозном вопросе о насилии между Достоевским и «Конем бледным» — такая же разница, как между химической формулой взрыва и взрывом. Тот сказал, этот сделал.

V

Жорж погибает, потому что убил? Нет, скорее, наоборот: убивает, потому что погиб.

Почти тотчас после убийства губернатора, убивает он мужа своей любовницы.

Глубочайший замысел книги, хотя слишком слабо намеченный,— параллелизм этих двух убийств, параллелизм пола и общественности — двух сообщающихся сосудов, в которых жидкость стремится к одному уровню. Быть в роде — значит быть в государстве. Начало родовое, безличное — начало государственное. Любить женщину без ревности, без насилия над личностью — такое же чудо, как любить родину без революционного или государственного насилия. Между браком и блудом нет границы вне Церкви — вне чуда. Прелюбодеяние — половое убийство.

О, как убийственно мы любим!
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Любить — убить. „Убить всегда можно“,— говорит он. „Любить всегда можно“,— говорит она. „Зачем ты так говоришь: то можно, то нельзя?.. В счастье нет греха... Почему я должна любить одного?.. Зачем выбирать?“

Она повторяет его же слова, и ему ответить нечего. „В моем желании — мое право. Я так хочу“,— не ответ. „Ты для себя лишь хочешь воли“,— могла бы она возразить, как Земфира. Одно и то же смердяковское: „все позволено“,— у нее в поле, у него — в общественности. Один уровень в двух сообщающихся сосудах.

Когда он думает о сопернике, ему кажется, что он думает не о нем, а о том, кого уже нет: „Мне кажется, что губернатор все еще жив“.

Два убийства — одно.

„До сих пор я имел оправдание: я убиваю во имя идеи, во имя дела. Но вот я убил для себя. Я захотел и убил. Кто судья? Кто судит меня? Кто оправдывает?.. Нету грани, нет различия. Почему для идеи убить — хорошо, для отечества — нужно, а для себя — невозможно? Кто мне ответит?“

В обоих убийствах — самый обыкновенный убийца, разбойник. „Мой разбойничий выстрел выжег любовь“ — любовь не только к женщине, но и к родине. Хуже, чем разбойник,— палач: „я — мастер красного цеха; я опять займусь ремеслом; буду жить смертью“.

„Мы — нищие духом,— говорит Ваня.— Чем, милый, мы живем? Голой ненавистью живем... Душим, режем, жжем. И нас душат, вешают, жгут. Во имя чего?“

Да, во имя чего? — „Я не хочу быть рабом. Я не хочу, чтобы были рабы“.— Но если последний ответ на все вопросы: „В моем желании — мое право; я так хочу и так делаю“,— то свобода одного, произвол одного — рабство всех: „Ты для себя лишь хочешь воли“.

„Я верю, что сила ломит солому“. Но ведь это и есть вера в абсолютную власть, та самая вера, которою держатся все черные сотни, все старые порядки, в том числе и русский. Он, кость от кости, дитя старого порядка. От него и к нему идет. Как будто борется с ним, отрицает, а на самом деле по-

могает, утверждает. Мнимая революция — подлинная реакция.

Революция для него не общественное, а личное дело. „Я один. Я ни с кем.— То — Комитет, а то — я“... говорит он члену центрального комитета и мог бы сказать всей России: то — Россия, а то — я. Государство — это я. Революция — это я.

Нерелигиозное самоутверждение приводит к самоотрицанию, самоубийству личности:

— „Никого ты не любишь, даже себя“,— говорит ему Ваня и сравнивает его с остервеневшим от злобы извозчиком, который хлещет лошаденку вожжой по глазам.— „Так и ты, Жоржик, всех бы ты вожжой по глазам. Эх, ты, бедняга!“

Не сильный и страшный, а слабый и жалкий человек. Это слабость и жалкость всей русской революции.

Суд любви — страшный суд. Насколько страшнее, чем суд ненависти! Какой детский лепет перед этим судом все обличения «Вех»! Как беспомощны все науськивания и подсиживания не только современных бесенят, но и „Бесов“ Достоевского!

„Бог есть любовь.— Я не люблю и не знаю Бога.— Проклят мир.— Нет любви, нет мира, нет жизни. Есть только смерть.— Я могу сказать про себя: „Я взглянул — и вот К о н ь б л е д н ы й, и на нем всадник, которому имя: Смерть“.

Это самоосуждение революционера было бы осуждением революции, если бы не было Вани. Напрасно Жорж хочет стереть то, что их разделяет.

„Ваня верил во Христа, я не верю. Я лгу, шпионю и убиваю. Ваня лгал, шпионил и убивал.— В чем же разница между нами?“

Гибелью своею ответил он на этот вопрос. В гибели Жоржа — последнее „нет“; в гибели Вани — последнее „да“ освобождения. Один весь — любовь; другой — весь ненависть. Один знает, во имя чего борется; другой не знает. Для одного — „нельзя и надо“; для другого не надо, хотя и можно.— „Я не хочу убивать. Зачем? — Ничего больше делать не буду. Прощайте“. Жорж уходит; Ваня приходит. Тот — конец старого; этот — начало нового.

Но недаром любят они друг друга, как братья-близнецы. Ваня отвечает за Жоржа, как прошлое

отвечает за будущее. Недаром прозвучали некогда и в сердце самого Жоржа святые слова: я дам тебе звезду утреннюю.— „Светлым праздником, торжественным воскресением“, может быть, прозвучат для него когда-либо и эти святые слова, с которыми Ваня умирает:

— „Я верю: вот идет дело крестьянское, христианское, Христово. Во имя Бога, во имя любви.— Маловеры мы и слабы, как дети, и поэтому подымаем меч. Не от силы своей, а от страха и слабости. Подожди, завтра придут другие, чистые. Меч не для них, ибо будут сильны. Но раньше, чем придут,— мы погибнем. А внуки детей будут Бога любить, в Боге жить, Христу радоваться. Мир им откроется вновь, и узрят в нем то, чего мы не видим“.

Пусть наши кости сгниют прежде, чем исполнится это пророчество; — уже и теперь могут указать на него в ответ на обычную провокацию: „Где ваши дела?“ — люди, верящие в религиозную правду освобождения: это сказано — сделано, ибо, кто сказал, тот и сделал.

Повторим же вместе с Ваней: „Будет удача! Услышит Господь моления наши“.

Не знаем, когда, где и как, но знаем: будет.

ГОЛОВКА ВИСНЕТ

Туда, где смертей и болезней
Лихая прошла колея,—
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!

Андрей Белый.

I

— Кабы не мучился-то, так ништо бы,— рассказывает Мавра о своем умершем ребеночке.— А мучился-то как... покою ему сколько ден не было. Возьму на руки, головка-то и виснет, так и виснет. Плакать даже не плачет, а мне в глаза смотрит.— Что, мол, тебе, Васюта? Чего тебе не дать ли, мол, ласковый? — А он смотрит. А потом тихонько так: „Молочка бы ты мне, мамка,— да не хоцца..." (Черное по белому. З. Н. Гиппиус).

Кажется иногда, что современная русская общественность похожа на больного Васюту.— Чего тебе не дать ли, мол, ласковый? Хочешь богоискательства или богостроительства? Хочешь „Великой России" или булгаково-бердяевского православия, или антисемитизма, или филосемитизма, или порнографических «Необузданных скверн», или просто, наконец, андреевской «Тьмы»? А Васюта только в глаза смотрит; а потом тихонечко так: „Молочка бы ты мне, мамка,— да не хоцца"... И головка виснет.

Мы утешаемся тем, что побеждены „силою штыков" и что реакция наша — случайная, внешняя, политическая. Но так ли это в действительности? Не в том ли главный ужас наш, что переживаемое нами внешнее отступление есть внутреннее отступничество, что наша явная политика есть тайная метафизика?

У других народов совершается реакция по

естественному закону механики: угол падения равен углу отражения; как аукнется, так и откликнется; у нас — по какому-то закону сверхъестественному: угол отражения равен х; аукнется так, а откликнется черт знает как.

У других народов реакция — движение назад; у нас — вперед, подобно течению реки, стремящейся к водопаду, к еще невидимой, но уже притягивающей, засасывающей пропасти.

У других народов реакция — от революции; у нас революция или то, что кажется ею, от реакции: чересчур сдавят горло мертвою петлею — и мы начинаем биться в судорогах; тогда петлю стягивают крепче — и мы цепенеем вновь.

У других народов реакция есть явление вторичное, производное; у нас первичное, производящее: не убыль, а прибыль, не минус, а плюс — хотя, конечно, ужасный и отвратительный плюс.

Кажется иногда, что эта первичная реакция есть prima materia, первозданное вещество России; что сердце наших сердец, мозг наших костей — этот разлагающий радий; что Россия значит реакция, реакция значит Россия.

Если у других народов некоторая степень революционного жара — нормальная температура крови 37 градусов, то у нас, как у рыб и земноводных, температура ниже нормальной: Россия в революции — такая же биологическая нелепость, как лягушка или рыба в горячечном жару, с температурой в 40 градусов.

Кажется иногда, что в России нет вовсе революции, а есть только бунт — январский, декабрьский, чугуевский, холерный, пугачевский, разинский — вечный бунт вечных рабов.

II

14-го декабря на Исаакиевской площади, целый день, с утра до вечера, толпа стояла и кричала: ура! — Иностранцы удивлялись этому „стоячему бунту“. Сами заговорщики не знали, что делать. Диктатор, кн. Сергей Трубецкой, спрятался в какое-то правительственное учреждение, чуть ли не в кан-

целярию военного штаба, и дрожал, и плакал от страха, как женщина. Долговязый, нелепый, похожий на большого, вялого комара, русский немец Кюхельбекер, смешной и добрый Кюхля, с незаряженным пистолетом, расхаживал по площади. Не ему одному, а всем было „кюхельбекерно и тошно" и всем, кажется, стало легче, когда государь велел стрелять в толпу картечью: поняли, наконец, что надо делать.

— Умрем! Ах, как мы славно умрем! — говорил накануне молоденький заговорщик, похожий на шестнадцатилетнюю девочку.

Уже тогда, в этом „стоячем бунте", началась „всероссийская забастовка". Революция наша и есть, по преимуществу, забастовка, остановка, недвижность в самом движении, неделание в самом делании. Пока движемся куда-то, делаем что-то, бунтуем — мы в положении противоестественном, как бы на голове ходим, обезьянничаем, подражаем Европе; но только что начинаем пятиться, каяться, отдаваться реакции,— находим себя, становимся „истинно русскими людьми", не на голове ходим, а на резвых ножках бегаем. Мы — Ванька-встанька: как бы не завалила нас революция, реакция выпрямит.

Читая покаянные письма декабристов к Николаю I, не веришь глазам,— это ли вчерашние мятежники, цареубийцы? Революция сползает с них, как истлевшее лохмотье, открывая голое тело реакции.

„Божий перст и царский гнев на мне тяготеют,— пишет Александр Бестужев.— Я чувствую, что употребил во зло свои дарования, что мог бы принести честь своему отечеству, жить с пользой и умереть честно за своего Государя... Но Царь есть залог Божества на земле, а Бог милует кающихся".

Убежав с площади,— хотя вовсе не был трусом, картечь пробила ему шляпу на волос от головы,— целую ночь и утро ходил он по церквам и, наконец, „решился пасть к стопам государя", пошел в Зимний дворец, донес на себя и на Тайное общество.

Булатов был так потрясен тем, что государь не поверил ему,— что сошел с ума и разбил себе голову об стену каземата.

С полным основанием сказано в «Прибавлении» к «СПб. ведомостям» от 15 декабря 1825 года: „Всяк,

кто размыслит, признает, что оный случай есть не иное что, как минутное испытание, которое будет служить лишь к ознаменованию истинного характера нации — непоколебимой верности и общей преданности русских к Августейшему законному их Монарху".

„Несколько человек, гнусного вида во фраках",— как сказано в том же «Прибавлении», напоминают не то будущих „бесов" Достоевского, не то старинных чертей, в образе „поганых ляхов" на иконах Страшного суда; а Николай I, милующий виновных, четвертование заменяющий виселицей, есть образ „Божества на земле".

О, жертвы мысли безрассудной!
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить?
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов —
Зима железная дохнула,
И не осталось и следов.

(Тютчев. 1827 г.)

Тогда — лишь ручеек, теперь — водопад крови; но и теперь, как тогда, „не осталось и следов".

Один из последних декабристов, умерший почти на наших глазах, в 1886 году, Матвей Иванович Муравьев-Апостол, признавался перед смертью, что „всегда благодарил Бога за неудачу 14 декабря"; что „это было не русское явление"; что „мы жестоко ошибались"; что „конституция вообще не составляет счастья народов, а для России, в особенности, непригодна". В годовщину 14 декабря кто-то поднес ему венок. Матвей Иванович „чрезвычайно рассердился и возмутился"; а один из друзей его сказал подносившему:

— 14 декабря нельзя ни чествовать, ни праздновать; в этот день надо плакать и молиться.

„Сегодня день моей смерти; в молчании и сокрушении правлю я тризну за упокой моей души",— пишет об этой годовщине Александр Бестужев.

Получив известие о 14 декабря ночью, Пушкин ранним утром выехал из Михайловского, по направлению к Петербургу, но, не доезжая первой станции,

вернулся, потому что увидел попа и зайца, трижды перебегавшего ему дорогу.

После казни декабрнстов Николай Павлович вызвал Пушкина в Москву на коронацию и, беседуя с ним, между прочим спросил:

— Где бы ты был 14 декабря, если бы находился в Петербурге?

— В рядах мятежников, ваше величество.

Государь посмотрел на него и вдруг усмехнулся: откровенность обезоружила „рыцарское сердце“ Николая.

Лет шесть назад, еще до ссылки, когда распространился в Петербурге и дошел до самого Пушкина слух, будто бы „высекли его в тайной канцелярии“, он, по собственному признанию, размышлял: „Не приступить ли мне к самоубийству или?..“ Или к тому, чего он и назвать не смеет.

Неужели же не почувствовал певец Вольности, что московская откровенность хуже петербургских розог?

В предсмертной агонин, уже причастившись, велел он камердинеру подать ящик с пистолетами: хотел покончить с собою, чтобы нзбавиться от непереносимых мучений. Когда же принесли записку от государя, прижал ее к губам, не соглашался отдать н умолял, чтобы позволили ему умереть с нею.

— Скажи государю, что мне жаль умереть: *был бы весь его*,— сказал умирающий Жуковскому.

В такие минуты не лгут. Самоубийство — непокорность Богу; царю Пушкин покорнее, чем Богу.

Вот глубина русской реакции — не политическая, не эмпирическая, не здешняя — трансцендентная. Реакция — религия. Кажется иногда, что последняя сущность России — религиозная воля к реакцин.

Нет, что уж тут говорить о штыках! Если кто чем оправдан, то не мы — штыками, а нами — штыкн.

С богатырских плеч
Сняли голову
Не большой горой,
А соломинкой.

Соломнпка сильнее штыков. От нее-то „головки так и виснут, так и внснут“.

III

О 9 января могли бы сказать кающиеся ныне то же, что декабристы о 14 декабря: „В этот день надо плакать н молиться".

— Если бы снова началась революция, я не вышел бы из комнаты! — объявнл мне бывший член „христианского братства революционной борьбы".

— Вот когда отхлестаем мы по щекам эту подлую русскую революцню, эту подлую русскую интеллигенцию! — воскликнул бывший марксист, теперешний „национал-либерал", заговорнв со мною о книге, в которой русскую ннтеллигенцию русскне интеллигенты собнраются подвергнуть Страшному суду.

Я хотел было напомнить ему, что какова ни на есть русская интеллигенция, она все же единственная, другой нет и неоткуда взять,— да так и не решился; он захлебывался от ярости; казалось, что этот благовоспитанный человек вот-вот разразнтся непристойной бранью.

Не звучит ли в современных поношениях русской ннтеллигенции — пусть виновной, но все же матери, русскими интеллигентами, пусть невнннными, но все же детьмн,— эта неслыханная в веках и народах, „нстинно-русская" матерная брань?

Я промолчал — да он бы и не услышал меня: уже горел в глазах его тот восторг самобнчевания, самонстребления, то сладострастие позора, которые в области нравственной соответствуют физическому сладострастию побоев, мазохизму. Недаром, видно, русская реакция совпала с русской порнографией: все этн кающиеся похожи не то на сологубовских мальчиков, которых другие секут, не то на гоголевскую унтер-офицершу, которая сама себя высекла, н чья-то „милостивая усмешка" приосеняет это добровольное сечение.

— Содрать бы с себя интеллигентскую шкуру, превратиться в обывателя — вот с чего надо начать! — накинулся на меня другой бывший марксист, теперешннй православный.

— Послушайте, голубчнк,— попытался я заметить,— для Вас как будто и само православие только о б ы в а т е л ь щ н н а?

— Вот именно! — обрадовался он какою-то свирепою радостью.— Обывательщины-то нам и нужно! Все наше спасенье в обывательщине!

Это вчера вечером, а сегодня утром зашел ко мне бывший декадент, теперешний Бог весть кто или что — какая-то воплощенная Недотыкомка с окончательно повиснувшею головкою.

— Бросить все, уйти от всего, уехать в провинцию и сделаться учителем арифметики в младших классах прогимназии! — мечтал он вслух.

— К обывательщине вернуться? — вспомнил я вчерашнее.

— Ну да, к обывательщине, если угодно,— к реализму от романтизма, к воде от вина.

И принялся толковать длинно-длинно, скучно-скучно о том, что общий грех русского декадентства и русской революции — неутолимый романтизм, жажда опьянения.

— Ну, чего другого, а трезвости-то у нас нынче, кажется, довольно,— прошамкал я, подавляя зевоту.

— Не трезвость, а похмелье: от одной рюмки опять опьянеем...

И вновь слова полились, однозвучные, как дождевая капель из водосточного желоба. Говорил он о том, чего ему хочется, а мне только слышалось: „Молочка бы ты мне, мамка... да не хоцца“...

— Чистейшей воды реакция! — не удержался я, наконец,— зевнул во все горло.

— Реакция? — встрепенулась Недотыкомка и даже подняла головку.— Ну, да, конечно, реакция! — согласился и обрадовался так же, как мой вчерашний собеседник, только не буйною, а тихою радостью, как будто весь просветлел — неугасимою лампадой затеплился.

— Реакция! Реакция! — шептал, как шепчет в бреду умирающий от жажды: вода! вода!

IV

Сектант, молоканин с Урала, пишет мне об Александре Добролюбове, тоже бывшем декаденте, ушедшем в народ:

„Живет в рабьем зраке, занимается поденными

работами, землекопом; проповедует свою истину тайно; более скрывается в банях и на кухнях. Смотришь — придет в дом, войдет в кухню, и потом к нему туда водят, по одному человеку, на беседу. Около 900 душ отколол в свою веру от Собрания нашего (т. е. молоканского). Последователи брата Александра находят лишним и моление, и пение, видимые. Прежде много пели, а потом брат Александр сказал, что „граммофон ни к чему",— и перестали петь. И молиться никогда не молятся, а вот их обряд: сидят за столом и хоть бы показали вид, что сердечно вздыхают; сидят поникши, кто где сел, пока кто-нибудь не скажет или запоет, тогда поют, но нехотя, а чтобы кто помолился, этого совсем нету.

Дорогие братья! Может быть, этого всего не нужно — ни петь, ни молиться. Прошу вас, ради Бога, обсудите и пришлите мне для моего подтверждения, потому что я сейчас сильно с этим борюсь и не могу вместить.

О, возлюбленные мои, помогите мне!.."

„Сидят поникши" — когда я прочел это, сердце у меня захолонуло; так вот куда уже проникла зараза виснущих головок! Там пока еще „сильно борются с этим, не могут вместить", кричат: „помогите!" Но никто не слышит.

И вспомнилось мне, как один мой давний приятель, глубокий мистик, хотя и синодальный чиновник, говорил о „жертвенном отношении к власти".

— Чтобы не тронул медведь, надо лечь на землю и притвориться мертвым — не дышать, не двигаться: медведь обнюхает и отойдет. Так и с властью: надо покориться ей, смириться до смерти — до того, чтобы почувствовать себя мертвым — вот как лежит покойник в гробе с венчиком на лбу. Тогда власть перестанет быть страшною, обезоружится — и мы увидим в ней сквозь лик Звериный лик Христов.

Вспомнилось и то, что утверждает один современный учитель православной церкви: будто бы главное и, в сущности, единственное христианское таинство — погребение.

От Пушкина и декабристов, через кающихся революционеров, до Александра Добролюбова и этого учителя церкви — не проходит ли одна скрытая нить, один глубочайший уклон русского религиозно-

го духа — от христианства к буддизму, от религии жизни к религии смерти, от воскресения к погребению?

Не здесь ли тот радий, которым излучается темный свет русской реакции? Та „соломинка", которою „с богатырских плеч сняли голову"? Причина того, что не штыками, а голыми руками из нас хоть веревки вей?

V

Кажется иногда, что если и начал растапливаться „вечный полюс" водопадом крови, то для того, чтобы в наступившей оттепели полился водопад грязи, напоминающий те стоки нечистот на петербургских набережных, мимо которых нельзя пройти, не зажав носа,—

Как будто тухлое разбилося яйцо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной —

для того, чтобы смешался водопад крови с водопадом грязи.

. . . .

„Соотечественники, страшно! — хочется закричать, как умирающий Гоголь.— Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире".

Хочется закричать, но голоса нет.

Я должен признаться, что сейчас, когда я пишу, у меня самого „головка так и виснет, так и виснет". Уж не покориться ли? Не завалиться ли, как божья коровка, вверх ножками, притворяясь мертвым,— благо, Зверь мертвечины не ест, любит живеньких? Ослабеть и лечь „под сводом шалаша на лыки", подобно рабу, принесшему яд анчара?

И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

Или бежать?

„Если бы я вам рассказал то, что я знаю, тогда бы помутились ваши мысли, и вы подумали бы, как убежать из России",— говорит Гоголь.

Так Чаадаев и Вл. Соловьев бежали в западное

христиаиство, Герцен и Бакунин — в западное безбожие. Так бежал Петр, величайший из русских беглецов, для которых любить Россию будущую значит ненавидеть настоящую.

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

Что это — молитва или кощунство? Во всяком случае, никто никогда не молился так или не кощунствовал, кроме нас. Страшные слова эти сказаны в 30-х годах русским человеком, московским профессором, бежавшим за границу и постригшимся в монахи католического ордена Редемптористов, Владимиром Сергеевичем Печериным.

Туда, где смертей и болезней
Лихая прошла колея,—
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!

Слова эти, еще более страшные, сказаны в наши дни.

„Соотечественники, страшно! — Вспомните «Египетские тьмы». Слепая ночь обняла их вдруг, среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые страшилища с печальными лицами стали неотразимо в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего; все чувства, все побуждения, все силы в них погибнули, кроме одного страха".

О ком же это сказано, как не о нас?

Нам нужно выбрать одно из двух: или окончательно предаться Египетским тьмам, с окончательно повисившею головкою сказать: „Исчезни, Россия моя!" — или найти в бывшем, каково бы оно ни было, не только временную, но и вечную правду, которая соединит бывшее с будущим.

СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И СЕРДЦЕ ЗВЕРИНОЕ

Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное.

Даниила, IV, 13.

I

„Надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело.— Раз человечество отречется поголовно от Бога, то само собою наступит все новое.— Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости, и явится Человеко-бог“.

Это исполняется, как по-писаному, в споре социал-демократии с „новым религиозным сознанием“. Древний вечный спор богочеловечества с человекобожеством.

„Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои“.

Сейчас трудно решить, что происходит: кружится ли пустынный ветер, расходится ли зыбь от брошенного в воду камня, или восходит, взлетает от земли к небу какая-то спираль — исполинская витая лестница Вавилонской башни?

„Социалистическая Вавилонская башня — это, действительно, воплощение современного атеизма“,— соглашается Базаров с Достоевским: а если так, то необходимая религиозная предпосылка социализма есть атеизм.

Но для того чтобы утвердить атеизм, „разрушить в человечестве идею о Боге“, недостаточно одной критики чистого разума. Опровергнув онтологические доказательства бытия Божия, тем же ударом

опровергает она и онтологические доказательства безбожия. Есть Бог, и нет Бога, теизм и атеизм — два одинаково произвольных утверждения, две одинаково недоказуемые веры. Мы не знаем, может ли человек установить в религиозном опыте какую-либо связь с нуменальным. Ignoramus, ignorabimus — вот единственный ответ разума на все вопросы веры. Не знаем и никогда не узнаем, не можем и не хотим знать, есть Бог или нет.

Атеизм, в таком чистом виде, критический атеизм — безответен перед всяким религиозным утверждением. Это не отрицательный полюс положительного электричества, а лишь дурной проводник — стекло. Критический атеизм — пустое место в религии; не отрицание Бога, а лишь отсутствие вопроса о Боге.

Необходимая предпосылка социал-демократии как религии — атеизм не критический, а догматический; не критическое отрицание вопроса о Боге, а догматическое утверждение, что Бога нет; вера в небытие Божие, по степени мистики, совершенно равная вере в Бога. Догматический атеизм есть обратный теизм — антитеизм, или, как выражается Бакунин, „антитеологизм".— „Если есть Бог, то человек — раб". Но мы верим, что человек свободен; — следовательно, мы должны верить, что Бога нет. „Я верую, что Бога нет!" — могли бы воскликнуть Базаров, Луначарский, Горький вместе с героем Достоевского.

Это поняли общие враги нового религиозного сознания и социал-демократии как религии. Вот почему объединяют они оба течения, если не по качеству, то по количеству мистики.— „Теперь и безбожники, наши русские социалисты, сочиняют религии",— замечает Галич, и очень ядовито, но справедливо называет социал-демократию Луначарского „богословием". А Струве „материализацию царства Божьего", как у „богостроителей", так и у „богоискателей", считает одинаково „скверным апокалипсическим анекдотом".

„Я видел всесильный и бессмертный народ... и я молился: Ты еси Бог, да не будет миру бози инии разве Тебе, ибо Ты еси един Бог, творяй чудеса. Тако верую и исповедую" (Исповедь Горького).

Это ли не вера? Это ли не мистика?

Нет, успокаивает Базаров, „тут нет мистицизма“, тут дело не в деле, а в словах.

Слово, „термин: богостроительство, конечно, неудачен; лучше было бы не давать даже малейшего, даже внешнего повода к недоразумениям“.— Итак, утверждать, что Бог есть, когда Бога нет, называть не-сущее сущим — только малейший, только внешний повод к недоразумениям? Не значит ли это: нам до такой степени наплевать на Бога, что мы употребляем Его на затычку, за неимением более удачного слова — от слова-де не станется?

„Горький,— объясняет Базаров,— писал не трактат, а повесть, и вполне понятно, что герой его употребляет для обозначения атеистических ценностей то же самое имя, каким он с детства привык обозначать вообще высшие ценности“.— Не значит ли это: употребление имени Божьего — дурная детская привычка?

Но ведь вот Луначарский пишет не повесть, а трактат, целое „богословие“. Почему же и у него та же дурная привычка?

„Человек человеку Бог.— Ищешь Бога? Бог есть человечество“,— богословствует Луначарский.

Если Бог есть ничего, то „человечество есть Бог“,— значит: человечество есть ничто; а следовательно, и социал-демократия как религия, основанная на идее человечества как Бога, есть ничто; и богостроительство — строительство из ничего.

Но ведь это самоистребление или, во всяком случае, нечто гораздо худшее, чем дурная детская привычка; это сознательно нечистая игра не словами, а ценностями, фальшивый вексель, „мошенничество“, как выражается черт Ивана Карамазова: „если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины“,— зачем санкция имени Божьего?

Пусть такие умные люди, как Луначарский, Базаров, Горький, знают, что от слова не станется, и готовы проливать из-за слова Бог только чернильные реки. Но ведь народ, неискушенный в этой игре, может поверить, что Бог, действительно, есть или что Бога, действительно, нет. И тогда от слова станется; тогда вновь, как это столько раз бывало в истории, потекут уже не чернильные, а кровавые реки. И пой-

мут игроки, что игра с Богом в народе, особенно в русском народе, игра с огнем в пороховом погребе — безбожная, бесчеловечная игра.

Если остановить внимание на внешности, то, пожалуй, действительно, надо будет признать, что „богословие" Луначарского отзывается литературщиной. Беда в том, что теперь „мода на Бога", а Луначарский — модник. В начале XIX века был щегольский цвет „мертвой блохи" — puce morte; в начале XX века — цвет „мертвого Бога"; и кажется иногда, что Луначарскому все равно, какая мода.

Но я не хочу останавливаться на литературной внешности и не могу на основании одной этой внешности заподозрить Луначарского, а тем более Горького, в таком невинном ребячестве или преступном обмане, как богостроительство из ничего.

Это не обман, а самообман. И сам Горький с Луначарским это уже почти сознают.

„Ты, Мишка, нахватался церковных мыслей, как огурцов с чужого огорода наворовал, и смущаешь людей. Коли говорить, что рабочий народ вызван жизнь обновлять,— обновляй и не подбирай то, что попами до дыр заношено, да и брошено".

На воре шапка горит. В самом деле молитва, тайна, чудо, святость, бес, Бог — все эти религиозные слова в кавычках, все это „богословие" бедного Мишки — не что иное, как огурцы с христианского огорода. И напрасно Луначарский хватается за негорящую шапку: огурцы, мол, выросли на диком поле.— „Но попами создано понятие Бога". Если не попами, то кем? Человечеством? Но тогда почему этот естественно родившийся и выросший в человечестве Бог менее реален, чем тот будущий, искусственно выращенный в литературной склянке гомункул или механически построенный автомат?

Кем бы, впрочем, ни было создано понятие Бог, главное то, что старого Бога нет, а новый „Бог — коллективное человечество" — есть или будет. Для Базарова Бога нет, не было и не будет; для Луначарского и Горького — нет, не было, но будет. Между этими двумя утверждениями — пропасть; пусть пока лишь словесная, зеркальная, но это — зеркало глубоких вод, в которых бедному Мишке не найти брода.

Да и так ли уж уверен Луначарский, что старого Бога нет?

„Миродержатель, Демиург — почти бес... Куда деваться? Поднять кулак к небу и укусить его в отчаянии? Ты преступишь подлую заповедь... А дальше? Он пригнет тебя к земле и заставит целовать палку, которой будет сокрушать твои ребра. Ты в бешенстве начнешь громоздить горы на горы, строить башню, столп до Его проклятого жилища, а Он молнией разобьет твою работу или коварно бросит раздор между людьми. Куда бежать?“

Если богохульства эти не модная дешевка цвета „мертвой блохи“ или „мертвого Бога“, если в них есть какая-нибудь жизненная правда, то кажущееся отрицание тут подлинное утверждение, превращение старого Бога в нового беса, а может быть, и старого беса в нового Бога. Зеркало не уничтожает, а только искажает, перевертывает лицо.

Бог против Бога, религия против религии. Человекобожество против Богочеловечества — вот зеркальная или действительная глубина спора.

Во всяком случае, позитивные твердыни сданы, и напрасно хочет Базаров вернуться в них.

Социал-демократия запуталась в сетях мистики, пусть пока лишь одним ноготком: ноготок увяз — всей птичке пропасть.

II

„Человек есть Бог“ — один член символа веры; „человечество есть Бог“ — другой. Я есмь Бог для человечества; человечество есть Бог для меня; крайний мистический индивидуализм (Ницше, Штирнер, Л. Андреев) и крайний мистический социализм (Фейербах, Луначарский, Горький) — между этими двумя крайностями существует антиномия, неразрешимая в той плоскости, на которой движется социал-демократия как религия *.

Когда Иван Карамазов говорит о человекобоге, то

* То, чего я здесь касаюсь кратко и поверхностно, глубже и подробнее изложено Д. В. Философовым в его докладе, читанном в Рел.-фил. о-ве: «Богостроительство и богоискательство».

сначала разумеет под ним человекобожество, социалистическое человечество, а затем прибавляет: „Но если даже период этот (т. е. период торжествующего социализма) никогда не наступит, то так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом даже хотя бы одному в целом мире... Для Бога не существует закона. Где станет Бог, там уже место Божие. Где стану я, там сейчас же будет первое место... „все дозволено" — и шабаш".

Здесь та же антиномия. Ведь, в конце концов, остается нерешенным, нерешенным вопросом: кто Бог — человек или человечество, я или все? кому „все дозволено — мне, вопреки всем, или всем, вопреки мне? я ли уничтожаю всех, или все уничтожают меня?"

Ни то, ни другое, отвечают социал-демократы, все для каждого и каждый для всех.— Но ведь это школьная пропись, бабушкина сказка о „предустановленной гармонии".

На всем протяжении всемирной истории происходит борьба личности с обществом, одного со всеми,— и никогда еще эта борьба не была такой убийственной для обеих сторон, как теперь; никогда с такою ясностью не вскрывалось противоречие между идеальною правдою анархизма и реальною правдою социализма. А предустановленная гармония все еще вилами на водах писана. Ни показать, ни доказать ее нельзя,— можно только верить в нее.

Для того чтобы разрешить антиномию абсолютной личности и абсолютной общественности, существуют на самом деле только два средства: или отказаться от всякого абсолюта, т. е. от всякой религии, богостроительства, как это делает Базаров, или пожертвовать одним абсолютом другому, личностью — общественности, как это делают Луначарский и Горький.

III

Бог есть ничто — вот первый член символа веры; человеческая личность есть ничто — вот второй. Для Базарова нет вовсе „я" и „ты", а есть только „мое"

и „твое“: „мое“ и „твое“,— говорит он,— возникают только тогда, когда речь заходит о дележе *продуктов* творчества, об их распределении“.— Человеческая личность для Базарова — лишь экономическая единица. Чувство личности — чувство собственности. „Индивидуализм (т. е. абсолютное утверждение личности) создал великую культуру. *Мавр исполнил свой долг, мавр может удалиться*“. Личность может умереть — собаке собачья смерть.

„Пафос творчества,— продолжает Базаров,— объективен, безличен, по самому существу своему. В коллективном творчестве „я“ не принижается, но просто отсутствует“.— Легко сказать: просто отсутствует! Ведь это значит: торжество социализма — торжество безличности; ведь это то самое, что говорят злейшие враги социализма.

И всего поразительнее невозмутимое спокойствие, с которым говорится все это. Угасает солнце нашей планетной системы и глазом не моргнет. Никакой трагедии, никакой бури около погибающей личности — тихий конец мира, тихий провал,— та *вторая смерть*, от которой нет воскресения.

Итак, две необходимые предпосылки для торжества социализма — уничтожение Бога и уничтожение личности. Надо разрушить в человечестве идею не только о Боге, но и о личности. Одно вытекает из другого, потому что утверждение Бога в человечестве есть утверждение Богочеловечества, абсолютной Божественной Личности — Богочеловека. Социалистическая Вавилонская башня строится на костях убитого Бога и убитого человека. Богоубийство — человекоубийство.

„Человек есть *особь вида*“,— определяет Луначарский. В таком определении человеческая личность, так же как у Базарова, „не принижается, но просто отсутствует“. Для того, чтобы отождествить человека единственного, человека-личность с безличным всечеловеком, „особью вида“, надо уничтожить личность: ведь муравей есть тоже особь вида; для муравья личность ничто, муравейник — все; для человека — человечество, для муравья муравейник — Бог.

Лёббок в своих наблюдениях над муравьями, что-

бы отличить одного от другого, отмечал их разноцветными крапинками. Для Базарова и Луначарского личности Сократа, Гете, Канта, Франциска Ассизского — такие разноцветные крапинки на безличных особях вида.

„Здесь, скажут нам, есть великая опасность,— предупреждает Луначарский,— опасность подчинения личности вашему Левиафану, вашему новому богу-коллективу“.— Знает кошка, чье мясо съела. Но делает вид, что не знает.— „Что значит подчинение личности?“ — удивляется Луначарский. И выходит, разумеется, что подчинение личности ничего не значит, потому что сама личность ничего не значит.

И уж, конечно, на вопрос о смерти как об уничтожении личности единственный ответ — „бессмертие рода“, т. е. абсолютное человекоубийство, окончательное поглощение самой идеи личности как чего-то условного в идее безличного рода как абсолюта. Но это не ответ, а глухота к вопросу. Да и что уж тут спрашивать о смерти, когда и в жизни личность „просто отсутствует“.

Религиозное принятие смерти как уничтожения личности есть религиозное принятие безличности. „Всякий узнает,— говорит черт Ивана Карамазова,— что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как бог“.— Как бог или зверь? Ведь и зверь не знает, что такое смерть. Можно принять или отвергнуть это бого-звериное бессмертие, но спорить о нем нельзя, как о всяком откровении. Недаром говорит Базаров о „пафосе“: пафос значит религиозный восторг: пафос безличности для Базарова, Луначарского, Горького и есть религиозный восторг социал-демократии.

О, конечно, бессознательно! Потому-то с этим так трудно бороться, что это пока еще слишком бессознательно.

IV

Доныне революционное освобождение человечества начиналось с утверждения человеческой личности. Но „мавр исполнил свой долг, мавр может удалиться“. Социал-демократия как религия хочет на-

чать освобождение с отрицания личности. Тут опасность предельного мистического рабства. Самодержавие „нового бога“ — коллектива — злейшее из всех самодержавий.

Обожествленный Коллектив становится некоторым Великим Существом, Grand Etre (по О. Конту), некоторою сверхчеловеческою Личностью, а все отдельные человеческие „я“ — безличными клеточками этого тела.

Какое же это тело, какое лицо? Что если не божеское и не человеческое, а звериное? Что если центральная монада этого нового тела — не кто иной, как древний Цезарь Божественный или новый Великий Азеф, Великий Хам?

„Расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в доме царства моего и в славу моего величия?..“

„Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: тебе говорят, царь Навуходоносор,— царство твое отошло от тебя.

И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями“.

„Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное“.

Это сказано о социализме — „богостроитель“, строитель Вавилонской башни.

Но о нем же сказано: „Царство твое останется при тебе, когда познаешь власть небесную“.

Не отнимется у социализма сердце человеческое и не дастся ему сердце звериное только в том случае, если познает он власть небесную, познает, что „Всевышний владычествует над царством человеческим“.

Истинное Богостроительство есть Богочеловечество. Камень, который отвергли строители, сделается главою угла. Этот камень — Богочеловек Христос. И строится на нем не Вавилонская башня, а вселенская Церковь — Царство Божие на земле, в котором исполнится и религиозная правда социализма.

V

Социал-демократия — железный молот; новое религиозное сознание — хрупкое стекло; стоило, казалось, молоту прикоснуться к стеклу, чтобы разбить его вдребезги.

Но вот опустился он всею тяжестью, ударил, а стекло не разбилось.

Откровение личности — не стекло, а сталь нового религиозного сознания. Спор идет о Боге в человеческой личности — о Богочеловеке, о Христе.

Посчитайтесь же со Христом, антихристиане; посчитайтесь же с Богочеловеком, человекобоги.

Кто не за Меня, тот против Меня.— Будьте же за или против. Не махайте молотом в пустоте, бейте прямо в цель.

А мы вам скажем спасибо за то, что вы куете наш меч.

> Так тяжкий млат,
> Дробя стекло, кует булат.

АРАКЧЕЕВ И ФОТИЙ

I

Что такое Аракчеев?

„Просто фрунтовый солдат",— сказал о нем Пушкин.

Но это не так просто. Весь петербургский период русской истории создал Аракчеева, получил в нем то, чего хотел.

Без лести предан — в этом гербе целая религия.

— „Что мне до отечества! Скажите, не в опасности ли государь?" — воскликнул он в Двенадцатом году перед вступлением Наполеона в Россию.

Провались отечество, да здравствует царь; не быть всем, быть одному — такова религия.

Дух небытия, дух человекоубийственной казенщины воплотился в Аракчееве до такой степени, что почти не видно на нем лица человеческого, как на гоголевском Вие: „лицо было на нем железное".

Железное лицо Аракчеева — лицо единовластия. Нет Аракчеева, есть аракчеевщина — бессмертное начало. Всего ужаснее в нем это нечеловеческое, нездешнее, „виево".

Когда он умирал, Николай I прислал к нему в Грузино своего лейб-медика Вилие, который предписал больному, кроме лекарств, полное спокойствие; но однажды утром застал его с железным аршином в руке, которым умирающий наказывал провинившегося мальчика-садовника, „производя ему равномерные удары по носу".

Равномерные, „единообразные".— „Я люблю единообразие во всем",— говорил Александр I. Александр говорил, Аракчеев делал.

Может быть, мальчик с окровавленным носом не

чувствовал боли, окаменев от ужаса перед железным лицом этого железного автомата, „великого мертвеца“ гоголевской «Страшной мести»: „Хочет подняться выросший в земле великий, великий мертвец“.

И доныне весь русский народ — не этот ли бедный мальчик, которого бессмертный Аракчеев бьет железным аршином по носу?

В государстве — Аракчеев; в церкви — Фотий. Казенщина государственная и казенщина церковная. За обеими — единый дух небытия, единая религия: всякая власть от Бога. У Аракчеева — власть, у Фотия — Бог; у Аракчеева — земля, у Фотия — небо; у Аракчеева — плоть, у Фотия — дух.

Ему орудием духовным —
Проклятье, меч, и крест, и кнут.

Соединение Аракчеева с Фотием — соединение кнута с крестом. И это соединение совершается в лице Благословенного.

Однажды Фотию было видение: „видел он себя в царских палатах, стоящего перед царем; Фотий, объяв царя за выю, во ухо тихо поведал ему, како, где, от кого и колико церковь православная обидима есть; царь же дал манием Фотию ведать, что постарается исправить все“.

В том же видении является Аракчеев: по одну сторону царя — Фотий, по другую — Аракчеев.

В посмертных бумагах Фотия находится Записка об Аракчееве: „Всяческая познавая, познал, что гр. Аракчеев всем сердцем Бога любит, царю предан, верен, правдив, православную церковь истинно любит. Он есть правое око царя, столп отечества, и таковые люди веками родятся. В нем кроме добра я ничего не видел. Ему можно все поверить, и с Божию помощью все может делать.— За что спаси его Боже на многие лета для церкви и отечества!“

В 1829 году Пушкин писал к торвальдсеновскому бюсту Александра I:

Недаром лик сей двуязычен,
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни а р л е к и н.

Это жестоко и несправедливо, это — оскорбление

не царского величества, а страдания человеческого. Пусть арлекин, но ведь раненный насмерть, истекающий кровью. Двуязычность, двусмысленность, искажающая этот лик,— предсмертная судорога. И он скрывает ее, трагикомический Янус, двумя лицами, двумя масками: одна, обращенная к земле — Аракчеев, другая — к небу — Фотий.

II

Полуфанатик, полуплут,

сказал Пушкин о Фотии.— И это несправедливо: фанатик, но не плут.

Не из плутовства же постился так, что желудок „в ореховую скорлупу сжимался“; удручал себя веригами из медных крестов: „вся грудь моя — едина рана; правый сосец внутрь от огня изгнил; стою еще на ногах иногда, но слаб, как тень“. Изнурил себя до того, что дрожал в постоянном ознобе и среди лета носил шубу.

Не из плутовства, „был в бедах, болезнях, ранах, биениях, потоплениях многократно“.

Сын мужика, сельского причетника, сам до конца дней мужик в рясе, вступает в бой против масонов и мистиков „с Илииною ревностью“, точь-в-точь как рыцарь печального образа — против призрачных гигантов и ветряных мельниц.

Никому неведомый корпусный законоучитель „в церкви, в классах, на дорогах, в келье и где случай был ему небоязненно глас свой, яко трубу, возвышал, посреди великого града С.-Петербурга, дабы огласить тайны беззакония, вразумить царя, властей и всех к покаянию“.

От государя и министра духовных дел, „глаголемого патриарха“, кн. Голицына, до последнего синодального чиновника — все ему враги. Но „дух ревности разжег его, и он, яко штурмом, хотел взять крепость вражию“.

Покупал еретические книги, только что вышедшие из типографии, и публично при всех учениках в корпусе „предавал раздиранию и огню, произнося: Анафема!“

В домах, где бывали тайные собрания масонов

и мистиков, подкупленные слуги проламывали стены под потолком и просверливали дырочки, сквозь которые Фотий, будучи невидим, сам видел и слушал все, что делалось внизу.

Впоследствии, уже войдя в силу, вместе с обер-полицеймейстером Гладковым, учредил духовно-полицейский сыск. Один сыщик, выманив корректурные листы еретической книги пастора Госнера из типографии, представил их обер-полицеймейстеру, тот — Магницкому, Магницкий — Аракчееву, Аракчеев — государю. Вот маленькое начало Великой Инквизиции.

Но это впоследствии, а в первое время, за недостатком помощи полицейской, приходилось надеяться на помощь Божью, чудо Божье — или сатанинское.

„Сатана подсылал к нему духа злого, который внушал тайно, что он — Илия пророк новый, а посему некое бы чудо сотворил или хотя перешел по воде, яко по суху, противу самого дворца через реку Неву“.

Митрополит вызвал его „на испытание, в уме ли он“. Кажется, в самом деле, начиналось у Фотия сумасшествие. Вообразил, что масоны хотят его извести. Однажды в глухую полночь прибежал из корпуса к о. Иннокентию, ректору семинарии, босиком, в одной рубашке, выскочив в окно, при помощи кадетов.

По всей вероятности, окончательно сошел бы с ума и пропал бы где-нибудь в Соловках или Суздале, если бы не „ангел во плоти, дщерь-девица Анна“.

Дочь графа Алексея Орлова-Чесменского или, вернее, Ропшинского, того самого, из чьих молодецких рук, после внезапной смерти Петра III, Екатерина II получила престол,— благочестивая графиня Анна всю жизнь замаливала грех отца.

Благочестивая жена
Душою Богу предана,
А грешной плотью
Архимандриту Фотью.

Это клевета.

„Я, в мире пребывая, ни единожды не коснулся плоти женской, не познал сласти.— Чадо мое, о Господе, есть девица непорочная во всецелости.—

Я грешник, но раб Бога моего верный: то ужели бы на дело Божие избрал сосуд растленный и нечистый?"

Этому, кажется, следует верить.

Некрасива и уже немолода — „лет 35 от чрева матери" — была эта Дульцинея, когда встретила Дон-Кихота.

Может быть, с ее стороны было невинное обожание.

— „Ах, отец! отец! как он мил!" — восклицала она, млея, когда кн. Голицын читал ей письма Фотия.

С его стороны — бурсацкая, слегка циническая, но отнюдь не любовная нежность.— „Что тебе сделалось, чадо мое? Какая есть немощь твоя? Не застудилась ли? — Можно поясницу и где неловко потереть спиртом или оподельдоком. Помни, в зеленых банках худой, а самый лучший в белых".

Как бы то ни было, встреча с Анною решила судьбу Фотия. Она сложила к ногам его свою женскую честь, свой вельможный сан и свои несметные богатства. „Бедный сирота", который родился в свином хлеву на соломе и выпрашивал у тетеньки конец пирога или гривенник на сбитень, оказался обладателем 45 миллионов. Но дороже миллионов были связи с Голицыным, Аракчеевым и, наконец, самим государем.

Чудо совершилось: Фотий пошел через Неву по воде, яко по суху.

III

„Революция готовится вскоре.

Пароль на все наложен — пароль всегубительства — раскопать алтари и разрушить престолы.

Вскоре, как пожар, в России возгорится революция; теперь уже дрова накладены, и огнь подкладывается".

И не в одной России, но и во всем мире, „под видом тысячелетнего Христова царства, феократического правления, готовится революция в 1836 году: число звериное в Апокалипсисе — 666: 6+6+6=18; 6×6=36: 1836".

„Главная причина всего" — Библейское Общест-

во, масоны, мистики, министерство дел духовных, кн. Голицын и „прочая сволочь зловредная“.

Также Греч, издатель «Северной пчелы», и Тимковский, цензор: в обоих — „дух революционный“.

„Тайна беззакония деется. Господь при дверях.— Блажен, кто возьмет меры осторожности. Время еще не ушло.

Как пособить, дабы остановить революцию?

Министерство духовных дел уничтожить. Синоду быть по-прежнему.

В великой борьбе сей должен будет действовать за Бога государь православный, и на главе Его помазанника лежат великие судьбы церкви и всего человечества.

Бог победил видимого Наполеона, вторгшегося в Россию: да победит Он и духовного Наполеона лицом твоим, коего можешь ты, Господу содействующу, победить в три минуты чертою пера“.

Таковы „откровения свыше“, которые сообщал Фотий Александру I.

Похоже на бред. Но есть в этом бреду нечто до ужаса реальное, воплощенное во всю историческую русскую действительность: вера в божественное всемогущество того, кто „в три минуты чертою пера“ может спасти или погубить церковь.

„Исповедую же с клятвою крайнего Судию Духовной сей коллегии быти самого всероссийского монарха“,— сказано в присяге членов синода, по духовному регламенту Петра I, и подтверждено указом Павла I: „самодержавец российский есть глава церкви“.

Всего ужаснее то, что Фотий себя не обманывает, знает, откуда идет „революция“; „никто не смел противиться, помышляя, что все действуется не без воли Высочайшей.— Император сам поврежден в познаниях истин веры.— Сам себе, по неведению, изрывает ров погибели“. Знает Фотий и то, что князь Голицын, „главная причина всего,— тридцатилетний друг царев, соучастник в тайных делах, о них же лет есть и глаголати (т. е. в делах любовных).— Князь любимец от начала был у Александра, угождая плоти, миру и диаволу“.

Кому же именно дарована будет победа „в три минуты чертою пера“ — Богу или диаволу?

Но тут-то и возникает Аракчеев: „он все может исполнить, он верен.— Он православную церковь истинно любит“.

А так как „сему одному все тайны сердца царева откровенны“, и „все дела о церкви ему же вверяемы“, то в последнем счете судьбы церкви зависят единственно от Аракчеева: глава церкви — не Христос, ни даже русский царь, а русский хам Аракчеев.

IV

В 1824 году 22 апреля, вечером, в девятом часу, в Лавру принесена тайная весть, что, по Высочайшему повелению, к митрополиту Серафиму будет Аракчеев.

„Царь Александр не хотел явно все произвесть в дело, а тайно думал и тихо учинить; Аракчеев старался от имени царя как-нибудь согласить во всем митрополита с князем Голицыным“.

Александр, по своему обыкновению, прятал железные когти в бархатную перчатку.

Но тут произошло нечто внезапное, едва ли, впрочем, неожиданное для заговорщиков: фитиль поджег мину.

— „В деле святой церкви и веры нет середины! — воскликнул митрополит.— Когда делать царь хочет, то пусть делает, как должно; в противном случае он будет пред Богом виноват. Боже мой! страх одолевает меня. Что делается у нас? И все как спят и пробудиться не могут. Из святейшего синода сделали нечистый един, просто сказать, заход (т. е. отхожее место). Церковь явно поругается. До чего мы дожили!“

„И тотчас, взяв белый клобук свой митрополичий, снял с головы своей, бросил на стол и сказал:

— Граф, донеси царю, что видишь и слышишь. Вот ему клобук мой! Я более митрополитом быть не хочу,— с князем Голицыным не могу служить, как явным врагом церкви и государства!“

„Аракчеев смотрел на сие, как на вещь редкую“,— замечает Фотий.

Действительно, за весь „петербургский период русской истории“ вещь редкая — этот Белый Клобук,

духовный венец церкви, спорящий с железным венцом власти; это чудесное превращение Серафима в Никона, мокрой курицы в орла. Кости московских и византийских патриархов не повернулись ли в гробах своих?

— „Стой, владыко, святый, стой до конца! — подливал масла в огонь Фотий.— Что сказано царю, то и верно: все рушат, все раздирают, и нет ниоткуда помощи; весь синод в плену у слуги диавольского. Теперь едино остается делать, ежели царь не исправит дело веры и не защитит благочестие,— взять Св. Евангелие в одну руку, а в другую — Св. Крест, идти в Казанский собор и, посреди народа, возгласить: православные! веру Христову попирают, а новую какую-то, бесовскую, хотят ввести! — Послушай, граф, донеси царю, что сие быть может сделано. Вся Россия узнает. Жены и дети найдутся многие, которые за Преблагословенную Приснодеву Богородицу вступятся. Она, Владычица наша, вскоре приидет на помощь. Падет враг, и путь нечестивых погибнет!"

Здесь, как и везде, доведенная до конца реакция становится обратною революцией, черное железо накаляется докрасна. Эта маленькая революция, буря в стакане воды — не прообраз ли той настоящей бури, великой революции черных сотен, которой если не мы, то дети наши будут свидетелями?

Но Аракчеев слушает молча с полулисьей, полуволчьей усмешкой эти громы не из тучи. Он может быть спокоен: ни Серафим, ни Фотий не пойдут к народу; стоит их ударить железным аршином по носу, чтобы тотчас же вновь превратились орлы в мокрых куриц.

V

25 апреля Голицын приехал к Фотию в дом графини Орловой, в час пополудни. Фотий ждал во всеоружии.

Стоит у икон; горит свеча; св. Тайны Христовы предстоят; крест лежит на аналое; Библия раскрыта.— „Входит князь и образом, яко зверь рысь, явля-

ется. Протягивает руку для благословения. Но Фотий, не давая благословения, говорит:

— „В книге Таинство Креста под твоим надзором напечатано: „духовенство — зверь“ (т. е. антихрист), а я, Фотий,— из числа духовенства, то благословить тебя не хочу, да тебе и не нужно“.

— „Неужели за сие одно?“ — удивился будто бы Голицын.

Тогда Фотий пришел в ярость, схватил крест, поднял его над головою и закричал:

— „Анафема! Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его! Будь ты проклят! Снидешь во ад и все с тобою погибнут вовеки! Анафема всем!“

Голицын побежал вон из горницы, „во гневе, яко лишен ума“,— утверждает Фотий, но, на самом деле, скорее, в страхе.

Голицын бежал, а Фотий кричал ему вслед:

— Анафема! Анафема!

Перепуганная дщерь-девица бросилась к Фотию.

— Отец! Отец! Что ты наделал! Пожалуется князь государю — засудят тебя, заточат, сошлют в Сибирь...

Девица плакала, а Фотий, „скача и радуясь“, пел:

— С нами Бог!“

Бог и Аракчеев. Несдобровать бы Фотию, если бы не Аракчеев: анафема Голицыну, министру духовных дел, тридцатилетнему другу царевича, была анафемой самому царю, разумеется, условная — если де царь не покается.

Во всяком случае, теперь уже не могло быть примирения: надо было выбрать одно из двух — пожертвовать Фотием, т. е. Аракчеевым, Голицыну или Голицыным Фотию, т. е. Аракчееву.

15 мая 1824 года издан указ об уничтожении министерства духовных дел и об „оставлении синода по-прежнему“. Аракчеев победил, Голицын пал.

„Вся столица славы великой исполнилась,— рассказывает Фотий.— Как свет солнца утреннего, разлиялся светлый слух о исчезании мирского владычества над церковью. Паде ад, диавол побежден. Слава веры, победа церкви.— Митрополит пел, и Фотий пел“. Кажется, вот-вот запоет Аракчеев.

Но в чем же собственно победа церкви? — А вот в чем: отныне все доклады синоду представлялись

государю через графа Аракчеева. Как некогда Голицына, так ныне Аракчеева можно было назвать патриархом. Самодержавие и православие — царство от мира и не от мира сего соединились в Аракчееве. Железный аршин сделался жезлом, о котором сказано в Апокалипсисе: „Будет пасти народы жезлом железным".

„Порадуйся, старче преподобный,— писал Фотий другому своему архимандриту Герасиму,— нечестие пресеклось, общества все богопротивные, яко же ад, сокрушились. Министр наш один Господь Иисус Христос.— Молися об Аракчееве: он явился раб Божий за св. церковь и веру, яко Георгий Победоносец".

Такова победа церкви, по мнению Фотия: Христос — „министр духовных дел"; победа Христа — победа Аракчеева.

VI

Это кажется сказкою, но это быль, и даже не быль, а современная русская действительность. Один большой Аракчеев, один большой Фотий раздробились на множество маленьких.— Нужно ли называть имена?

Дух государственной казенщины, дух Аракчеева в церкви подобен явлению Вия:

— „Приведите Вия, ступайте за Вием".

„И вдруг настала тишина; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви".

Не слышится ли нам и ныне это волчье завыванье? Не раздаются ли тяжелые шаги?

„Ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь он был черней земли. Тяжело ступал, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены до самой земли. Лицо на нем железное".

Железное лицо Вия — лицо государственной казенщины в церкви.

— „Поднимите мне веки: не вижу".

Поднятие виевых век церковным сонмищем Фотиев есть учение о том, что свободный дух религии — дух революции. На него-то и кидается несметная

сила чудовищ, как на бедного философа Хому Брута: „бездыханный, грянулся он о землю, и тут же вылетел из него дух от страха“.

Когда наступило утро, „вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить.— Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами,— и никто не найдет теперь к ней дороги“.

Эти чудовища родились от союза двух нечистых сил — государственной казенщины с церковною, Аракчеева с Фотием.

СВИНЬЯ МАТУШКА

I

Один современный русский писатель сравнивает два памятника — Петра I и Александра III *.

„К статуе Фальконета, этому величию, этой красоте поскакавшей вперед России... как идет придвинуть эту статую, России через 200 лет после Петра, растерявшей столько надежд!.. Как все изящно началось и неуклюже кончилось!..“

— Это тогда! — мог бы сказать обыватель, взглянув на монумент на Сенатской площади.

— Это теперь! — подумал бы он, взглянув на новый памятник.

„Водружена матушка Русь с царем ее.— Ну, какой конь Россия,— свинья, а не конь... Не затанцует. Да, такая не затанцует, и, как мундштук ни давит в нёбо, матушка Русь решительно не умеет танцевать ни по чьей указке и ни под какую музыку... Тут и Петру Великому „скончание“, и памятник Фальконета — только обманувшая надежда и феерия“.

„Зад, главное, какой зад у коня! Вы замечали художественный вкус у русских, у самых, что ни на есть аристократических русских людей приделывать для чего-то кучерам чудовищные зады, кладя под кафтан целую подушку? — Что за идеи, объясните! Но, должно быть, какая-то историческая тенденция, „мировой“ вкус, что ли?..“

Мировой вкус к „заду“ — это и есть „родное мое, наше, всероссийское“.— „Крупом, задом живет чело-

* См. статью Варварина в «Русск. слове». Я не хочу раскрывать псевдонима, но ex ungue leonem (по когтям льва.— *С. С.*) — один только человек в России пишет таким языком.

век, а не головой... Вообще говоря, мы разуму не доверяем"...

„Ну и что же, все мы тут, все не ангелы. И до чего нам родная, милая вся эта Русь!.. Монумент Трубецкого, единственный в мире, есть именно наш русский монумент.— Нам другой Руси не надо, ни другой истории".

Самообличение — самооплевание русским людям вообще свойственно. Но и среди них это небывалое; до этого еще никто никогда не доходил. Тут переступлена какая-то черта, достигнут какой-то предел.

Россия — „матушка", и Россия — „свинья". Свинья — матушка. Песнь торжествующей любви — песнь торжествующей свиньи.

Полно, уж не насмешка ли? Да нет, он, в самом деле, плачет и смеется вместе: „смеюсь каким-то живым смехом „от пупика",— и весь дрожит, так что видишь, кажется, трясущийся кадык Федора Павловича Карамазова.

— Ах, вы, деточки, поросяточки! Все вы,— деточки одной Свиньи Матушки. Нам другой Руси не надо. Да здравствует Свинья Матушка!

Как мы дошли до этого?

II

Дневник А. В. Никитенко * (1804—1877) — едва ли не лучший ответ на вопрос: как мы до этого дошли?

Это — исповедь, обнимающая три царствования, три поколения — от наших прадедов до наших отцов. Год за годом, день за днем, ступень за ступенью — та страшная лестница, по которой мы спускались и, наконец, спустились до Свиньи Матушки.

Рабья книга о рабьей жизни. Писавший — раб вдвойне, по рождению и по призванию: крепостной и цензор; откупившийся на волю крепостной и либеральный цензор. Русская воля, русский либерализм.

---

* Александр Васильевич Никитенко — литературный критик, историк литературы, академик Петербургской АН. Сын крепостного *(примеч. С. Н. Савельева).*

Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют.

Вся жизнь его — песнь раба о свободе. „Боже, спаси нас от революции!“ — вот вечный припев этой песни.— „Безумные слепцы! Разве они не знают, какая революция возможна в России? — Надо не иметь ни малейшего понятия о России, чтобы добиваться радикальных переворотов.— Я вышел из народа. Я плебей с головы до ног, но не допускаю мысли, что хорошо дать народу власть.— Либерализм надо просевать сквозь сито консерватизма.— Один прогресс сломя голову, другой постепенно; я поборник последнего.— Мудрость есть терпение.— Вот я любуюсь стебельком растения в горшке, стоящем на моем окне, которое, несмотря на недостаток земли и на холод, проникающий сквозь стекло, все-таки живет и зеленеет“.

Бедное растение, бедная рабья свобода!

Только изредка, когда впивается железо до костей, уже не поет он, а стонет. „Искалеченный, измученный,— лучше сразу откажись от всяких прав на жизнь и деятельность — во имя... Да во имя чего же, Господи?“

В 1841 году предложил он гр. Шереметеву выкуп за мать и брата, еще крепостных. „Вот я уже полноправный член общества, пользуясь некоторой известностью и влиянием, и не могу добиться — чего же? Независимости моей матери и брата. Полоумный вельможа имеет право мне отказать: это называется правом! Вся кровь кипит во мне; я понимаю, как люди доходят до крайностей“.

Сам он до них не дошел. „Я всегда был врагом всяких крайностей“. Несмотря на все испытания, все искушения,— а их, видит Бог, было много,— остается он до конца дней своих либеральным постепеновцем.

„Стоять посреди крайности, соблюдать закон равновесия — ничего слишком — вот мой девиз.— Терпение, терпение и терпение.— Мудрость есть терпение.— Нет такого зла, которого люди не могли бы снести: все дело только в том, чтобы привыкнуть к нему.— Да будет все так, как иначе быть не может“.

Да будет все так, как есть.

Но если далеко писавшему до революции, то, по действию на душу читателя, это одна из революционнейших русских книг.

Мы видим здесь воочию, как европейское лицо либеральной постепеновщины превращается в истинно русский реакционный „зад"; как утверждение либеральной середины переходит в самую чудовищную крайность: да здравствует Свинья Матушка!

III

— „Не правда ли говорил, что в Европе будет смятение?" — сказал Николай I в 1848 году представлявшимся ему русским католическим епископам.

— „Только что я услышал об этих беспорядках,— ответил один из них,— как вспомнил высокие слова вашего величества и изумился их пророческому значению".

— „Но будет еще хуже,— продолжал государь.— Все это от безверия и потому я желаю, чтобы вы, господа, как пастыри, старались всеми силами об утверждении в сердцах веры. Что же меня касается,— прибавил он, сделав широкое движение рукой,— то я не позволю безверию распространяться в России, ибо оно и сюда проникает".

Еще откровеннее выразил эту главную мысль николаевского царствования министр народного просвещения Уваров:

— „Мы живем среди бурь и волнений политических. Народы обновляются, идут вперед. Но Россия еще юна... Надобно продлить ее юность... Если мне удастся отодвинуть Россию на 50 лет, то я исполню свой долг".

Никитенко знает, откуда пошла эта „русская вера": „о, рабыня Византия! Ты сообщила нам религию"...

Борьба России с Европой, всемирно-исторического „зада" со всемирно-историческим лицом есть возрождение Византии в ее главной религиозной сущности.

„Теперь в моде патриотизм,— продолжает Никитенко,— отвергающий все европейское и уверяющий, что Россия проживет одним православием без науки и искусства... Они точно не знают, какою вонью

пропахла Византия, хотя в ней наука и искусство были в совершенном упадке... Видно по всему, что дело Петра Великого имеет и теперь врагов не менее, чем во времена раскольничьих и стрелецких бунтов. Только прежде они не смели выползать из своих темных нор... Теперь же все гады выползли".

Кто главный враг дела Петрова, он тоже знает.

В том самом 1848 году, когда объявлена священная война Европе, Никитенко записывает: „Думают навсегда уничтожить дело Петра.— Наука бледнеет и прячется. Невежество возводится в систему. Еще немного — и все, в течение ста пятидесяти лет содеянное Петром и Екатериною, будет вконец низвергнуто, затоптано. Чудная земля Россия! Полтораста лет прикидывались мы стремящимися к образованию. Оказывается, что все это было притворство и фальшь: мы улепетывали назад быстрее, чем когда-либо шли вперед. Дивная земля!"

Вот когда начался „мировой вкус к заду", превращение Коня в Свинью.

Почти ни одной черты не надо менять, чтобы картина тогдашней реакции сделалась картиною наших дней.

Неземная скука „вечных возвратов", повторяющихся снов: „все это уж было когда-то",— вот что в русских реакциях всего отвратительнее.

Никитенко — не Тацит; но иные страницы его напоминают римского летописца, может быть, оттого, что нет во всемирной истории двух самовластий более схожих по впечатлению сумасшествия, которое производит низость великого народа. Ибо что такое самовластье, возведенное на степень религии, как не самое сумасшедшее из всех сумасшествий?

IV

Митрополит Филарет пожаловался Бенкендорфу на один стих Пушкина в Онегине:

И стая галок на крестах.

Митрополит нашел в этом оскорбление святыни. Цензор на запрос ответил, что „галки, сколько ему

известно, действительно, садятся на кресты московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь более всего московский полицеймейстер". Бенкендорф написал митрополиту, что дело не стоит того, чтобы в него вмешивалась такая почтенная духовная особа.

Если это легенда, то до чего нужно дойти, чтобы поверить ей.

„В средние века жгли за идеи и мнения, но, по крайней мере, каждый знал, что можно и чего нельзя,— заключает летописец.— У нас же бессмыслица, какой мир не видал!"

Потерпев поражение в войне с московскими галками, митрополит нашел поддержку в министре народного просвещения, Уварове, который приказал, чтобы профессора философии во всех русских университетах руководились в своем преподавании статьею, напечатанной в «Журнале М. Н. П.», где доказывалось, что „все философии вздор и что всему надо учиться в Евангелии".

Никитенко вспоминает по этому поводу проект Магницкого об уничтожении в России преподавания философии, так как оно „невозможно без пагубы религии и престола".

Другой министр народного просвещения, кн. Ширинский-Шахматов, утверждал, что „польза философии не доказана, а вред от нее возможен".

Понятно, что, с этой точки зрения, все философские системы в России не более, как те галки, которые садятся на крестах и пакостят.

Да и где уж тут философия, когда один цензор в учебнике арифметики запрещает ряд точек, поставленный между цифрами, подозревая в них вредный умысел; а другой — не пропускает в географической статье места, где говорится, что в Сибири ездят на собаках, требуя, чтобы сведение это получило подтверждение от министерства внутренних дел. Бесконечная переписка ведется о том, как ставить числа месяцев — нового стиля над старым, или старого над новым.

Одного ученого на университетском диспуте „О зародыше брюхоногих слизняков" за употребление иностранных слов объявили „не любящим своего отечества и презирающим свой язык".

Цензор пушкинского «Современника» до того напуган гауптвахтою, что „сомневается, можно ли пропускать известия вроде того, что такой-то король скончался".

В сочинении по археологии нельзя говорить о римских императорах, что они убиты,— велено писать: „погибли"; а греческое слово демос — народ — заменять русским словом граждане.

И опять вспоминается Магницкий, который доказывал некогда, что книга профессора Куницына, «Естественное право», напечатанная в Петербурге, произвела революцию в Неаполе.

О книге «Проделки на Кавказе» военный министр заметил Дубельту: „Книга эта уже тем вредна, что в ней что ни строчка, то правда".

Тот же Дубельт вызвал Булгарина за неодобрительный отзыв о петербургской погоде:

— „О чем ты там нахрюкал? Климат царской резиденции бранить? Смотри!"

Когда за философские письма Чаадаева запрещен был «Телескоп», издателей петербургских журналов вызвали в цензурный комитет: „все они вошли, согнувшись, со страхом на лицах, как школьники".

Цензоров тошнит от цензуры: „цензура теперь хуже квартальных надзирателей.— Из цензуры сделали съезжую и обращаются с мыслями, как с ворами и пьяницами.— Тьфу! Что же мы, наконец, будем делать в России? Пить и буянить?"

На похоронах Пушкина обманули народ: сказали, что отпевать будут в Исаакиевском соборе, и ночью, тайком, перенесли тело в Конюшенную церковь. Бенкендорф убедил государя, что готовится манифестация; по улицам стояли военные пикеты, и в толпе шныряло множество сыщиков. Точно так же тайком увезли тело в деревню.

Жена Никитенко на одной станции, неподалеку от Петербурга, увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожей. Три жандарма на почтовом дворе хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом.

— Что это такое? — спросила она у одного из находившихся здесь крестьян.

— А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин

убит, и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости Господи,— как собаку...

„Чтобы все найденное мною неприличным, было исключено",— постановил Николай I о посмертном издании Пушкина.

Так похоронили того, кто сравнивал Николая I с Петром Великим и завещал, умирая: „Скажите государю, что мне жаль умереть,— был бы весь его".

Когда умер Гоголь, Погодина отдали под надзор полиции за то, что он выпустил свой журнал с черною каймою, а председатель цензурного комитета объявил, что не будет пропускать похвальных статей Гоголю — „лакейскому писателю".

„Уваров хочет, чтобы русская литература прекратилась: тогда, говорит, я буду спать спокойно".

„Да и к чему в России литература?.. Родная поэзия кнута и штыка..."

Наконец, самого Никитенко посадили на гауптвахту за то, что он пропустил в «Сыне Отечества» несколько шутливых слов о фельдъегере, „побрякивающем шпорами и крутящем усы, намазанные фиксатуаром".

Клейнмихель принял шутку на свой счет. Что такое в самом деле Клейнмихель, как не исполинский фельдъегерь? „Клейнмихель охмелел от царских милостей",— замечает Никитенко и далее рассказывает о бешеном волке, который, появившись однажды на петербургских улицах, перекусал множество людей.

„Сила его,— продолжает он о Клейнмихеле,— будет расти при дворе, по мере усиления к нему ненависти и презрения в обществе".

Большой Клейнмихель повторяется в бесчисленных маленьких, как солнце в каплях росы.

„Недавно два офицера, так, ради смеха, встретив на улице одного чиновника, совершили над ним грубое неприличие. Тот спросил у них: что они — сумасшедшие или пьяные? Они привели его на Съезжую, и оскорбленный должен был заплатить полицейскому пятнадцать рублей, чтобы тот отпустил его".

Гвардейские офицеры собирались пить. Двое поссорились, остальные решили, что чем выходить на

дуэль, лучше разделаться кулаками. Действительно, надавали друг другу пощечин и помирились.

Офицер в маскараде Дворянского собрания в пьяном виде разрубил саблею череп молодому человеку, ничем его не оскорбившему.

Вот первые цветочки того хулиганства, чьи ягодки созрели в наши дни.

В корпусе мальчики освистали учителя-офицера. Сначала их секли так, что доктор, при этом присутствовавший, перестал отвечать за жизнь некоторых; потом лишили дворянства, разжаловали в солдаты и по этапу отправили на Кавказ.— „Русское дворянство растит своих сыновей для розог, а дочерей для придворного разврата! — Ужас, ужас и ужас!“

„Но если иногда и загорается ужас, то гаснет тотчас же в той серенькой слякоти, которая определяется двумя словами: карты и скука. Во всех салонах царствуют карты и скука“.

Это слишком знакомое нам состояние тихого террора, благополучного ужаса — не только в обществе, но и в народе.

„Гулял под качелями. Густые массы народа двигались почти бесшумно, с тупым равнодушием поглядывая на паяцев и вяло улыбаясь на их грубые выходки“.

Однажды на масленице 1836 года загорелся балаган Лемана. Когда начался пожар и раздались первые вопли, народ, толпившийся на площади, бросился к балагану, чтобы разбирать его и освобождать людей. Явилась полиция, разогнала народ и запретила что бы то ни было предпринимать до прибытия пожарных. Народ отхлынул и сделался спокойным зрителем страшного зрелища. Пожарная команда поспела как раз вовремя, чтобы вытаскивать крючками из огня обгорелые трупы. Зато «Северная пчела» объявила, что люди горели в удивительном порядке.— „Государь сердился, но это никого не вернуло к жизни“.

Все нарастает и нарастает этот тихий ужас, предчувствие неминуемой гибели.

„В обществе нет точки опоры; все бродят, как шалые и пьяные. Одни воры и мошенники бодры и трезвы.— Общество быстро погружается в варвар-

ство. Спасай кто может свою душу! — Страшный гнет, безмолвное раболепство.— Не фальшь ли все, что говорят о народном патриотизме? Не ложь ли это, столь привычная нашему холопскому духу? Нас бичуют, как во времена Бирона; нас трактуют, как бессмысленных скотов. Или наш народ, в самом деле, никогда ничего не делал, а за него всегда делала власть?.. Неужели он всем обязан только тому, что всегда повиновался — этой гнусной способности рабов? Ужас, ужас, ужас! — Да сохранит Господь Россию!"

И всего ужаснее то, что гибель России кажется спасеньем Европы.

„Ненависть к русским в Европе повсеместная и вопиющая.— Нас считают гуннами, грозящими Европе новым варварством. До сих пор мы изображали в Европе только огромный кулак.— Грубая физическая сила угрожает штыками и пушками человеческому разуму. Кто преодолеет?"

„Спасая душу свою", московский профессор Печерин бежал из России. Это им в те дни написаны страшные слова:

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

„Да сохранит Господь Россию!" — последний вопль из горящего балагана.

И балаган рухнул: „Севастополь взят!" — записывает Никитенко с торжеством тайного, рабьего, жалкого, но все же святого мщения.— Мы не два года ведем войну,— мы вели ее тридцать лет, содержа миллион войск и беспрестанно грозя Европе. К чему все это? А мы думали столкнуть с земного шара гниющий Запад".

Николай I скончался. „Длинная и, надо-таки сознаться, безотрадная страница русского царства дописана до конца,— произносит раб над владыкою беспощадный приговор человеческой совести.— Главный недостаток царствования Николая Павловича тот, что все оно было — ошибка.— Теперь только открывается, какие ужасы были для России эти двадцать девять лет. Администрация в хаосе; нрав-

ственное чувство подавлено; умственное развитие остановлено; злоупотребление и воровство выросли до чудовищных размеров. Все это — плоды презрения к истине и слепой варварской веры в одну материальную силу. Восставая целые двадцать девять лет против мысли, он не погасил ее... и заплатил своею жизнью, когда последствия открылись ему во всем своем ужасе".

„Николая I,— говорит Никитенко,— убила эта несчастная война".

Нет, не только эта, но и вечная война России с Европою — космического зада с человеческим лицом. И не только над прошлым произнесен беспощадный приговор,— но и над будущим.

V

„Великий день: манифест о свободе крестьян",— записывает Никитенко 5 марта 1861 года. Он прочел этот манифест, „важнее которого вряд ли что есть в тысячелетней истории русского народа", вслух жене и детям перед портретом Александра II, „как перед образом", и велел своему десятилетнему сыну „затвердить навеки в своем сердце 5 марта и имя Александра II Освободителя".

Не сиделось дома на радостях. Вышел бродить по улицам. Везде читали манифест и наклеенные на перекрестках объявления от генерал-губернатора. Один, дочитав до места, где говорится, что два года дворовые должны оставаться в повиновении у господ, воскликнул: „Черт дери эту бумагу!" Другие молчали.

Но Никитенко не обратил на это внимания и, встретив А. Д. Галахова, бросился ему на шею: „Христос воскресе!" — „Воистину воскресе!" — и обнялись, чуть не заплакав от радости.

Никитенко казалось, что он может воскликнуть: ныне отпущаеши раба твоего,— что освобождение крестьян — освобождение России. И не ему одному, а почти всем его современникам. Почти все тогда поверили, что освобождение безвозвратное. Но что возврат всегда возможен,— да еще какой,— показал страшный опыт.

Начался тот медовый месяц либеральной постепеновщины, за который мы так жестоко расплачиваемся. Мед отцов отрыгнулся в детях полынью.

А между тем и тогда, кто хотел, видел правду. Точнее нельзя ее высказать, чем это сделал Никитенко несколько лет назад.

„В обществе начинает прорываться стремление к лучшему порядку вещей. Но этим еще не следует обольщаться. Все, что до сих пор являлось у нас хорошего или дурного, все являлось не по свободному самобытному движению общественного духа, а по воле высшей власти, которая одна вела, куда хотела" (1855).

И еще раньше, во времена николаевские: „или наш народ, в самом деле, никогда ничего не делал, а за него всегда делала власть?.. Неужели он всем обязан только тому, что всегда повиновался — этой гнусной способности рабов?"

Обязан всем — даже свободой. И воля рабов — рабья воля — немногим лучше вольного рабства.

Нет, несвободен освобождаемый и не освободивший себя народ. Свобода — не милость, а право. Не роса нисходящая, а пламя возносящееся. Лишь Божьей милостью свободен свободный народ.

Если бы Никитенко остался верен этой правде, то не запутался бы в той лжи, в которой погиб.

„Какие невероятные успехи сделала Россия в нынешнее царствование! Если бы в николаевские времена кто-нибудь вздумал напечатать о подобных вещах, тот был бы сочтен за сумасшедшего или за государственного преступника. А тут вот публичное судопроизводство, гласные, присяжные, адвокатура... и все это — создание того государя, которого упрекают в слабости.— Когда правительство ступило на другой путь, тогда бесчестно не содействовать его благим начинаниям! — Нет, господа красные, вы не поняли этого человека!"

„Во всей нашей администрации есть только один человек, честности и патриотизму которого можно доверять,— это Александр II.— Если между нашими правительственными лицами есть кто-нибудь, желающий блага России, то это государь".

Все бывшее зло — от личной воли Николая I; все настоящее благо — от личной воли Александра II.

Но ведь это и значит: народ сам никогда ничего не делал, а за него делала власть; он всем обязан повиновению — „этой гнусной способности рабов". Корень рабства остается нетронутым; заколдованный круг неразорванным. И освобождение не освобождает. Было и есть. Есть и будет.

Мудрено ли, что бывшее медом в устах отцов, будет полынью во чреве детей?

Либеральному постепеновцу суждено отныне вечно искать середины, вечно колебаться как маятнику между двумя крайностями,— „я всегда был врагом резких крайностей"; — между двумя терророми: белым и красным; между двумя молитвами: Боже, спаси нас от реакции,— и Боже, спаси нас от революции.

И постепенно, и нечувствительно совершит он полный оборот слева направо, от европейского лица революции к истинно русскому заду реакции.

VI

„Появились нигилисты в круглых шапочках и с остриженными волосами,— записывает он 21 апреля 1864 года.— Наши нигилисты требуют жизни без всяких нравственных опор и верований.— Хотят разрушить все и начать с дубины дикаря.— Смотрят на человечество, как на стадо животных".

Из беседы с одной нигилисткой: „Эта милашка до того завралась, что воскликнула: анархия — самое лучшее состояние общества!"

О философии Лаврова: „Боже мой, и это философия!.. Я не говорю уже о том, что тут все один материализм... Но что за хаос мыслей!.. Разве только на Сандвичевых островах можно признать за философию весь этот бред".

О Писареве: „Модный пророк Писарев угрожает нам в будущем кровавым потопом".

„Прокламации. Бредят конституцией, социализмом... Требуют, чтобы Россия лила кровь, как воду... И чего хотите вы, господа красные?.. Кто дал вам право человеческую кровь считать за воду?.. Вы хотите кровавыми буквами написать на ваших знаменах: свобода и анархия".

„Настоящей разумной революции не из чего делать, хотя все к ней клонится. Но мы способны дойти до полной анархии.— Деспотизм анархический несравненно хуже монархического.— Мы стоим в преддверии анархии, да она уже и началась.— Мы все спускаемся по скату и с неудержимой быстротой мчимся в пропасть, которой пределов и дна не видно".

„До чего изгажено, перепорчено, изуродовано молодое поколение!.. Это — осадки, подонки века... Растленные умы... Краснокожие либералы... Нелепые стремления... Безобразный порыв... Бедная Россия, как жестоко тебя оскорбляют!.. Боже, спаси нас от революции!"

Что это? Полвека или полгода назад? Никитенко или Булгаков, Бердяев, Струве? Дневник шестидесятых годов или «Вехи»? Те же мысли, чувства, те же слова, те же звуки голоса. „Все это уж было когда-то". Было и есть, есть и будет. Отвратительная скука русских реакций, неземная скука вечных возвратов, повторяющихся снов.

Все так же нечувствительно, постепенно — постепеновец доходит до воззвания к ежовым рукавицам.

„Если бы правительство показало, что с ним шутить нельзя, то мода эта (на нигилизм) быстро прошла бы.— Единственной уздой русского человека до сих пор был страх; теперь страх этот сият с его души". Страху не стало — оттого и гибнет Россия.

Но если так, то николаевское царствование не было „*ошибкой*"; уж если кто сделал ошибку, то сам Никитенко, осудивший царство страха. Прав был Николай, прав был Уваров, желавший „подтянуть" Россию, „отодвинуть на пятьдесят лет".

Оказывается, что в России, хотя „народ никогда ничего не делал, а все за него делала власть",— все же не избыток, а недостаток власти. „Чего смотрят высшие власти?.. Едва ли в каком-нибудь благоустроенном государстве инерция правительства доходила до такой степени, как у нас".

Эта желанная власть явилась, наконец, в лице Муравьева. „Меры Муравьева начинают приносить плоды: восстание (Польши) почти прекращено. Пора, пора действовать в духе одной системы, не сворачивая в сторону ни на одну линию".

Когда генерал-губернатор Суворов отказался

участвовать в поднесении образа Муравьеву, говоря, что не может оказать этой чести такому „людоеду“,— Тютчев, благороднейший из русских поэтов, назвал это пошлостью в пошлейших стихах:

Простите нас, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские, Европы не спросясь.

„Если уж пошло на то, так Россия нужнее для человечества, чем Польша,— решает Никитенко.— У России есть будущность.— Нас упрекают могуществом нашим, как преступлением. Но разве мы украли наше могущество? Мы добыли его терпением и кровью“.

„Смотрите, не лизните крови!“ — предостерегает он русских нигилистов и тут же с „людоедами“ лижет кровь.

„Не фальшь ли все, что говорят о народном патриотизме? Не ложь ли это, столь привычная нашему холопскому духу?“ — не вспомнились ему тогда эти его собственные слова.

Маятник вправо — маятник влево; но дело не в нем, а в стрелке часов, которая движется от одного полдня к другому — от одного тихого ужаса к другому.

VII

Уже в 1858 году поворот назад становится очевидным. Запрещено употреблять в печати слово „прогресс“. На докладе Ковалевского, в котором говорилось о прогрессе гражданственности, Александр II собственноручно написал: „Что за прогресс? Прошу слова этого не употреблять“.

В следующем 1859 году: „Мы, кажется, не шутя вызываем тень Николая Павловича. Но теперь это может быть и опасно. Правительство нехорошо делает, что, принимая начало, не допускает последствий“.

Но начало без последствий — в этом вся сущность рабьей свободы: по устам текло — в рот не попало.

В 1861 году, несколько дней спустя после Манифеста: „Право, никогда еще, даже при Николае Павловиче, университеты наши не были в таком положе-

нии, как теперь.— „Современнику“ — предостережение.— Министр усиливается запретить Некрасова“.

„Коварнейшая погода: солнце светит ярко, как летом, а между тем страшный холод.— Прелестные майские дни, нечего сказать! Сегодня ночью выпал снег. Надевай опять шубу.— На душе уныло, мрачно, безнадежно.— Тощая зелень из полумертвой земли“.

Бедный подснежник рабьей свободы, побитый морозным утренником. Мнимая весна — петербургская оттепель.

„Государь намерен закрыть некоторые университеты.

— Долее терпеть такие беспорядки нельзя,— говорит он,— я решился на строгие меры“.

„В Казанской губернии бунт крестьян.— Употреблена военная сила. Шестьдесят человек убито“.

В 1864 году о статьях Каткова: „неужели же одною материальною силою мы будем притягивать немцев, поляков, финнов? Правительству нужны бывают цепные собаки; оно и спускает их с цепи, а потом не знает, как их унять“.

В 1865 году: „Валуев замыслил сделать с нашею литературою то, чего не в состоянии был сделать Николай Павлович“.

В 1869: „Надо зажать рот печати“,— говорит новый Аракчеев — Шувалов.— Паника всеобщая. Ожидают худшего, чем во времена николаевские“.

В 1872: „Мы возвращаемся прямо к временам перед Крымской войной. Новый закон о цензуре. Finis печати. При этом законе становятся невозможными в России наука и литература. Да, правду сказать, давно бы следовало покончить с ними. К чему они нам?“

Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют.

В конце пятидесятых годов отметил летописец появление славянофила А. С. Хомякова в армяке и шапке-мурмулке: „Говорит неумолчно и большею частью по-французски... С е б е н а у м е“.— Теперь появляется другой представитель русской народности, еще больше себе на уме: „казацкий генерал с удивительною рожею,— на ней как будто отпечатана такая программа, что, если он хоть четвертую

часть ее исполнил, то его десять раз стоило повесить. А между тем, странное дело, тут же видно и какое-то добродушие“.

На высоте русского освобождения этот казацкий генерал — как реющий ангел на игле Петропавловской крепости. Смесь либерального добродушия с программой, достойной виселицы, и есть лицо того времени, в которое мы, дети наших отцов, имели несчастье родиться.

В это именно время делается „провидением Петербурга Трепов“. Не только Петербурга, но и всей России. „Вся Россия отдается под полицейский надзор... Открыто подкапываются под суды, стремятся опрокинуть земские учреждения, поразить гласность.— Земское собрание уничтожено, как какое-нибудь тайное нигилистическое общество.— Администрация принимает такие репрессивные меры, как будто одни нигилисты населяют русскую землю“.

Усилена власть губернаторов. Нижегородский сделал распоряжение, по которому все женщины в круглых шляпах, синих очках, с остриженными волосами и без кринолинов признаются нигилистками и забираются в полицию, где им приказывают надеть кринолины, а если не послушаются, то высылают из губернии.

В 1872 году, в Петербурге одну молодую девушку, дочь действительного статского советника, остригшую себе волосы после тифа и по слабости глаз носившую очки, городовые схватили на улице и отвели в часть как нигилистку.

— „При мне этого не будет!“ — говорит гр. Д. А. Толстой о нигилистах. И Катков, как бешеный, кидается на всех.

Полдень белого террора, тихого ужаса.

„Все одно и то же — мрачно всюду, глухо всюду“. И в этой глухой тишине, кажется, вот-вот раздастся снова панический крик: „Да сохранит Господь Россию!“

„Какие невероятные успехи сделала Россия!“ — это в начале, а в конце: „Мне пришлось горько разочароваться и убедиться, что всему хорошему у нас суждено начинаться, но не доходить до конца.— Дав свободу народу, мы хотим сковать всякую свободу мысли.— Одною рукою производим улучшения,

а другою их подрываем; одною даем, а другою отнимаем. Установляем новые порядки и тотчас же спешим сделать их недействительными. Нам хотелось бы нового в частностях, но тем, чтобы все главное осталось по-старому.— У нас испугались реформы те самые, которые ее произвели".

Это и есть участь русской либеральной постепеновщины: кошачьи подарки, собачьи отнимки; и хочется, и колется; в конце медового месяца — тёщина рожа реакции. Чего просили, то и получили: не Божью грозу, а чертову слякоть рабьей свободы.

„Все это уж было когда-то".— Было и есть. Есть и будет.

VIII

Да, „нам хотелось бы нового в частностях, с тем, чтобы все главное осталось по-старому".

Неужели же он все еще видит, что именно главное? Неужели все еще думает, что губит Россию только бюрократия — цвет и плод, а не корень дерева.

Кажется, начинает видеть.

„Не перестают восхищаться благодеяниями, излитыми в последнее время на народ. То ли скажет история? Освобождение будет не добром, а злом, и великим злом, при таком повороте назад.— Лучше было бы не начинать, чем продолжать так".

Это увидел он, уже одной ногой стоя во гробе. „Теперь я, как Марий на развалинах всего, что мною когда-то делалось: впереди ничего, кроме окончательного уничтожения".

И вот последний вопль отчаяния: „Наш народ черт знает, что такое! — Все ложь, все ложь, все ложь в любезном моем отечестве".

Было царство страха, стало царство лжи.

Ложь — рабья свобода и рабья любовь к отечеству: у рабов нет отечества.

Как утопающий за соломинку, хватается он теперь за ту самую революцию, которой так боялся, за тех самых нигилистов, которых так ненавидел.

„Всеобщее неудовольствие и волнение умов, даже дикие выходки наших юношей доказывают, что наш

народ жив и что у него есть будущность.— Главный двигатель материалистов — отчаяние, и, правду сказать, есть от чего прийти в отчаяние.— Но чем хуже, тем лучше.— Может быть, нам предстоит очиститься в огне революции".

Он, впрочем, знает, что ему самому этим огнем уже не очиститься; над самим собою и над своим поколением произнес он смертный приговор.

„Самое важное в человеческой жизни — это умение что-нибудь сделать.— Я ничего не умел и не умею сделать. Жить в словах и для слов это — глубокое злополучие.— Я, как ребенок, как дурак, играю в мечты и призраки. Я и подобные мне доктринеры составляем род бесполезных людей, способных разве только умирать мужественно и честно. Но мы напрасно думаем отвратить неотвратимое".

Приговора тягчайшего над либеральной постепеновщиной никто никогда не произносил.

IX

Тот всепоглощающий нигилизм, с которым он в других боролся,— теперь с ужасом видит он в себе самом. Всю жизнь отрицал крайности, утверждал середину, и вот в самой середине, в самом сердце всего — ничего.

„Все, что мы называем прекрасным, добрым, заключается в идеалах — в иллюзиях" — во лжи. „Вся наша цивилизация — грубая, пошлая ложь, блеск снаружи, гниль внутри.— Наука, говорят, освободит человека от иллюзий. Хороша услуга. Я не знаю, в состоянии ли голая истина довести человечество до чего-нибудь, кроме отчаяния. Глубокое презрение к себе и к жизни, вот все, что выносишь из долговременного опыта жизни. Человек — ничто. Жизнь гадка. Она есть глубочайшее ничтожество, ничтожнее самого ничтожества".

Проклятие жизни, проклятие себе, проклятие Богу.

Перед этим нигилизмом, нигилизм самых крайних — детская шалость. Там золотуха; здесь проказа.

Напрасно хочет он сохранить мужество: „пока жив, будь мужем; крепче и крепче держись за дух.— Каждый день начинается мыслью: борись и крепись.— Терпение, терпение и терпение“.

Нет, проклятье всех проклятий — этому терпению! Лучше умереть, чем так терпеть.

„Умереть значит перестать существовать и терпеть зло“.

И, может быть, злейшее зло — само терпение?

„1877, июль, 19.— Здоровье гнусное, прегнусное; лето гнусное, прегнусное; человечество гнусное, прегнусное... Ветер завывает, как лютый зверь. Дождь, мрак...“

„Июль, 20.— Проиграно сражение при Плевне, и какое-то мрачное молчание, лишающее нас сведений об...“

На этом слове дневник обрывается. На следующий день, 21 июля, Никитенко умер.

Рабья жизнь, рабья смерть.

Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют.

Песнь его — только песнь умирающего раба, сраженного гладиатора. Если бы он знал, что суждено ей заглушиться песнью торжествующей свиньи!

„Всякий народ имеет своего диавола“,— говорит Лютер. Никитенко увидел лицо русского диавола — „космический зад“: „ну, и что же, все мы тут, все не ангелы; и до чего нам родная, милая вся эта Русь; нам другой Руси не надо“.

Да здравствует Свинья Матушка!

Он от этого умер, а мы этим живем.

ЗЕМЛЯ ВО РТУ

I

Полетим или не полетим? Это вопрос не только о воздухоплавании, но и об участии нашем в той всечеловеческой свободе, которая хочет воплотиться в крыльях.

„1695 года, апреля в 30 день, закричал мужик караул, и сказал за собою государево слово, и приведен в Стрелецкий приказ, и расспрашиван; а в расспросе сказал, что он, сделав крыле, станет летать, как журавль. И, по указу Великих Государей, сделал себе крыле слюдные (слюдяные), а стали те крыле в 18 рублев из государевой казны. И боярин князь Иван Борисович Троекуров с товарищи и с иными прочими, вышед, стал смотреть; и тот мужик, те крыле устроя, по своей обыкности, перекрестился, и стал махи подымать, и хотел лететь, да не поднялся и сказал, что он сделал те крыле тяжелы. И боярин на него кручинился. И тот мужик бил челом, чтоб ему сделать другие крыле иршение (замшевые?). И на тех не полетел. А стали те крыле в 5 рублев. И за то ему учинено наказание: бить батоги, снем рубашку, и те деньги велено доправить на нем, и продать животы его и остатки" (Записки Желябужского).

Несколько лет назад, когда я перелистывал в Амбриазонской библиотеке Атлантический Кодекс Леонардо да Винчи с рисунками летательных машин,— вспомнился мне крылатый мужик. И в этом году, в Иоганигстале, около Берлина, когда с высоты донеслось вдруг нежное жужжание — журавлиное курлыканье моторов, и я увидел впервые человеческие крылья, серебристо-серые на темно-лиловом, вечереющем небе, и лицо человека, как лицо бога, сквозь

вертящееся, паутинное солнце пропеллера,— опять мне вспомнился неполетевший мужик.

Нет, не полетим. Пока есть то, что есть,— ни за что не полетим.

Возвращаясь в Россию, каждый раз удивляешься: до чего все заплеванное, заплюзганное, точно мухами засиженное, пришибленное, ползучее, бескрылое.

Как мастеровые в горбуновской сказочке решают: „От хорошей жизни не полетишь“.

Разве на дырявом шаре генерала Коваицько или на слюдяных крыльях?

II

Огорчился я, а Вяч. Иванов утешил меня *.

„Мистики Востока и Запада согласны в том, что именно в настоящее время славянству и, в частности, России передан некий светоч; вознесет ли его наш народ или выронит — вопрос мировых судеб... Благо для всего мира, если вознесет“.

Этот мировой светоч — „русская идея“, „воля к нисхождению“.

„Наши благороднейшие устремления запечатлены жаждой саморазрушения... словно другие народы мертвенно-скупы, мы же, народ самосожигателей, представляем в истории то живое, что, как бабочка-Психея, тоскует по огненной смерти“.

Европейской в о л е к в о с х о ж д е н и ю, которая воплотилась в культуре „критической, люциферианской, каиновой“, полярно противоположна рус-

---

* См. П о з в е з д а м. Статьи и афоризмы. СПб., 1909. «Русская Идея».

Книга эта, так же как все явление Вяч. Иванова, заслуживает глубокого внимания.

Если бы на Невском, в сумерки, когда зажигаются электрические огни, отражаясь пестрыми столбами в мокрых тротуарах,— появилась вдруг высокая, бледная женщина, вся с головы до ног закутанная, как бы запеленутая льняными пеленами, священными повязками,— Дельфийская Сибилла, то сначала толпа удивилась бы, засмеялась: «Ряженая!» — а потом шарахнулась бы в ужасе. Такое впечатление производит к р и т и ч е с к а я муза Вяч. Иванова в современной русской литературе.

ская воля к нисхождению, относящаяся к „тайне Второй Ипостаси, к тайне Сына“.

Вот почему народ наш — „христоносец“ по преимуществу: подобно Св. Христофору, через темный брод истории несет он на плечах своих Младенца Христа.

Я утешен: я знаю теперь, что если мы не летим, то не потому, что не можем, не умеем, а потому, что не хотим летать. Наше дело — нисходить, никнуть, погребаться, зарываться в землю. И надо нам отдать справедливость: мы это дело как нельзя лучше делаем.

Я утешен, но, признаюсь, не совсем.

Конечно, всякому народу лестно сказать: „Я — христоносец“. Но, во-первых, совестно: прочие народы-нехристи могут обидеться. А во-вторых,— нисходить, так нисходить: к чему же тогда слюдяные крылья и дырявый шар генерала Кованько? За эти неудачные и самохвальные попытки не приговорили бы нас „бить батоги, снем рубашку“, не только на историческом, но и на вечном Божьем суде.

„Во Христе умираем, Духом Святым воскресаем“,— уверяет Вяч. Иванов. Его бы устами мед пить. Что мы вообще умираем, этому поверить легко: стоит лишь взглянуть на все, что происходит сейчас в России. Но во Христе ли умираем,— сомнительно. Во всяком случае, умирали, умерли достаточно,— пора бы и воскресать. А на воскресение что-то непохоже.

„Семя не оживет, если не умрет“. Это значит: всякое оживающее семя должно умереть; но не значит, что всякое умершее — должно воскреснуть. Может и просто сгнить.

А ну, как сгнием?

III

„Ваше Высокопревосходительство, глубокоуважаемый Тертий Иванович“.

... „Вступление Ваше в первый ряд государственных сановников кажется мне несомненным предзнаменованием некоторой общей перемены правительственных взглядов... А перемена взглядов, на которую я намекаю, важна и необходима не для меня

одного, а для всей России, и не только для нее, но и для вселенской церкви".

> Сторожат меня албанцы,
> Я в цепях... но у окна
> Зацветают померанцы —
> Добрый знак: близка весна.

... „Меня связывает с Вами не столько единомыслие, сколько единоволие... У нас одна и та же цель: ignem fovere in gremio sponsae Christi *... Во всяком случае, чаю от Вас движения воды в нашей застоявшейся церковной купели.

Имею честь быть Вашего Высокопревосходительства покорный слуга, Владимир Соловьев" (Письма Вл. Соловьева, II т., стр. 328).

Бедный Вл. Соловьев! До какой глубины нисхождения, унижения нужно было дойти, чтобы уверовать в Тертия Филиппова, как в зацветающий померанец! Бедный пророк, поющий оффенбаховскую песенку перед этим оффенбаховским „эпитропом Гроба Господня" (церковный чин Тертия)! Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет.

Ведь знал же Вл. Соловьев, с кем имеет дело. „Не петербургские же чиновники разбудят православие",— писал он в 1885 году, за четыре года до письма Т. Филиппову. А года за три, во втором издании „Догматического развития церкви", цензорская рука зачеркнула слово „Богочеловек".— „Эту редкость,— замечает Вл. Соловьев,— я буду бережно хранить для потомства". И в 1886 году: „Обер-прокурор Синода, Победоносцев, сказал одному моему приятелю, что всякая моя деятельность вредна для России и для православия и, следовательно, не может быть допущена.— Наши государственные, церковные и литературные мошенники так нахальны, а публика так глупа, что всего можно ожидать" (Письма, II т., стр. 142).

И вот все-таки — „зацветают померанцы".

Т. Филиппов — цвет, Победоносцев — плод; один — романтик, другой — реалист. Приняв цвет, надо принять и плод.

Принял ли его Вл. Соловьев? Как будто принял.

* Хранить огонь в лоне невесты Христовой (*лат.*).

„Существующие основы государственного строя в России мы принимаем как факт несомненный. Дело не в этом... При всяком политическом строе... и при самодержавии, государство может и должно удовлетворять требованиям... религиозной свободы“ (там же, Грехи России, стр. 191).

Это значит: можно соединить самодержавие с православием как с откровением совершенной истины Христовой.

Или, говоря языком Вяч. Иванова: если в православии — воля к нисхождению, самоотречению, погребению себя во Христе — одна половина русской идеи, то в самодержавии — другая половина этой же идеи — воля к восхождению, самоутверждению, воскресению.— Во Христе ли тоже? Для Достоевского, для славянофилов — да.

А для Вл. Соловьева? И да, и нет. Он спрашивает Россию:

Каким ты хочешь быть Востоком,
Востоком Ксеркса иль Христа?

И вместе с тем полагает, что „дело не в этом“, что „при всяком политическом строе“ возможна религиозная свобода, а, следовательно, в последнем счете, Ксеркс не мешает Христу.

Напрасно думает он, будто бы нанес славянофильству последний удар — coup de grâce. Православие и самодержавие как два осуществления единой правды Христовой — вот живое сердце славянофильства, которого не только не убил он, но и не коснулся.

И посмотрите, как это живое сердце снова забилось у Вяч. Иванова. Именно здесь, между государством и церковью, Вяч. Иванов находится точно в таком же двусмысленном положении, как Вл. Соловьев. Тоже готов сказать: „дело не в этом“.

„Наше освободительное движение,— говорит Вяч. Иванов,— было бессильною попыткою что-то окончательно выбрать и решить“. Но „мы ничего не решили и не выбрали окончательно, и по-прежнему хаос в нашем душевном теле“. России угрожает гибель за то, что она стоит,

немея,
У перепутного креста

Ни Зверя скиптр нести не смея,
Ни иго легкое Христа.

Но если мы „ничего не решили, не выбрали окончательно“, то, как знать, в чье имя совершается и самое нисхождение России — во имя Христа или Зверя?

„Нам должно говорить не о могуществе, а о грехах России,— напоминает Вл. Соловьев.— Никакие подвиги не могут закрыть наших грехов; напротив, эти подвиги только ярче обличают внутреннее противоречие, в котором мы находимся“,— „хаос в нашем душевном теле“, колебание между Христом и Зверем.

Восхождение может быть каиновым, люциферианским, сатанинским; но ведь и нисхождение — точно так же, точно в той же мере. Ведь вот знает же Вяч. Иванов, что нисхождение, не закрепившее силы света,— самоубийственно.— Бросься отсюда вниз, и ангелы понесут Тебя.— Отойди от меня, Сатана.

Какое же нисхождение совершается сейчас в России? Христово или сатанинское? — Мы не решили. „Мы ничего не решили и не выбрали окончательно“.

Со Христом ли погребаемся, вольно нисходим или низвергаемся насильственно, летим к черту?

В нисхождении Христовом — свобода. А свободна ли Россия нисходящая?

„Рабский народ рабски смиряется и жестокостью власти воздержаться в повиновении любит... бичев и плетей у них частое есть употребление“. Эти слова Пуффендорфа русские цензоры вычеркнули, и Петр I восстановил.

Кнут не мука, а впредь наука. Палка нема, а даст ума. Нет того спорее, что кулаком по шее.— Это в народной мудрости, и это же в сознании просвещенных людей.— „Я люблю полицеймейстера, который, во время пожара, и меня самого съездил бы по затылку, чтобы я не стоял, сложа руки.— Без насилья нельзя“,— говорит Константин Леонтьев. И по поводу либеральных реформ в царствование Александра II: „не решимся ли мы просить могучего Отца (государя), чтобы впредь Он держал нас грознее?“

Это единственно русское. Не столько „идея“, сколько физиология — ощущение свободы, как чего-то богопротивного,— рабства, как богоугодного.

„Природа их такова,— говорит Аристотель о варварах,— что они не могут и не должны жить иначе, как в рабстве: quod in servitute boni, in libertate mali sunt *.“

В свободе — грешные, в рабстве — святые.

Святые рабы. Святая Русь — земля святых рабов.

IV

Первые изобретатели аэропланов, американцы, братья Вильбур и Орвиль Райт — сыновья пуританского епископа в городе Дайтон, в штате Огайо — потомки тех английских пуритан, которые завоевали Новый Свет.

Верные преданию отцов своих, в воскресение, день Господень, ни за что не полетят братья Райт: в этот день молятся они, чтобы Господь благословил их святой смиренный труд, святое смиренное восхождение.

Предел восхождения, освобождения — полет. Западная культура только потому и могла достигнуть этого предела, что Господь явился ей не в „рабьем зраке“, а как Освободитель народов, Царь царей, грядущий в облаках со славою и силою многою. Таким являлся Он благочестивым и вольнолюбивым воинам Кромвеля; таким и доныне является их правнукам.

Вот что для нас, русских, невообразимо. Мы уже не верим свидетельству св. Ипполита о том, что „Антихрист на небеса возлетит“. Но мы всосали это с молоком матери; это у нас в крови, даже у самых неверующих: каинство, окаянство, люциферианство всякой вообще воли к восхождению, к полету. Обескрыление, обесценение ценностей. „Опрощение, совлечение всех риз“,— определяет Вяч. Иванов.

Европейский путешественник XVII века рассказывает о русском пьянице, который пропил сначала кафтан, затем рубаху, наконец, порты и, выйдя, го-

* Что хорошо в рабстве, плохо в свободе (*лат.*).

лый, из кабака, сорвал горсть одуванчиков и „прикрыл ими свое срамное тело“.

Толстовское опрощение, писаревский нигилизм, бакунинский анархизм — все русские „совлечения“ — не напоминают ли эту горсть одуванчиков?

Тот же путешественник рассказывает, как пьяный священник хотел благословить стрельцов, но когда, подняв руку, наклонился вперед, голова у него отяжелела, и он упал в грязь. Стрельцы подняли его, и он все-таки благословил их грязными перстами.

Когда Достоевский или Константин Леонтьев благословляют Зверя именем Христа, когда Союз Архангела Михаила благословляет еврейские погромы и смертные казни,— кажется, видишь это благословение грязными перстами.

„Мы обречены необоримым чарам своеобразного Диониса“,— утверждает Вяч. Иванов.

Да, обречены. И в самом христианстве нашем, по преимуществу, аскетическом, „совлекающем“, из-за лика Христа выглядывает звероподобный лик варварского Диониса, древнего Хмеля-Ярилы.

V

Единственный залог русского „воскресения“ Вяч. Иванов усматривает в том, что „в одной России Светлое Христово Воскресение — праздник из праздников, торжество из торжеств“. Или, по слову Гоголя: „в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться“.

Вернее было бы сказать, не д е н ь, а н о ч ь, ибо за Светлою ночью — темный день, за светлым хмелем — грешное похмелье, за мгновенным полетом — стремительное падение в грязь. Сам же Гоголь заметил (Вяч. Иванов не замечает, и это для него показательно) неимоверную грусть сквозь пасхальную радость — грусть, от которой хочется „завопить раздирающим сердце воплем: Боже, пусто и страшно становится в Твоем мире!“

И вот опять знакомое видение русского бреда.

„В Новгороде ежегодно бывает день большого богомолья, и в этот день корчмарь, или целовальник, с купленного позволения митрополита, разбивает пе-

ред кабаком несколько палаток. Здесь пьянствуют.— Одна напившаяся баба, вышедши из кабака, упала на дороге и заснула. В то же время пьяный мужик, проходя мимо, увидел лежавшую и обнажившуюся бабу, возгорел похотью и прилег к ней, несмотря на ясный день и на то, что место было на большой дороге. Прилегши к бабе, он заснул. Вскоре вокруг этой пары животных образовалась целая толпа молодых парней; они смеялись и глумились, пока, наконец, не подошел один старик, который накинул кафтан на лежавших и прикрыл срамоту их“ (Олеарий. Путешествие в Московию. 1633—1639).

В одной России Светлое Воскресение — праздник из праздников, торжество из торжеств; но и в одной России возможна такая срамота, как эта пара животных. Ангелы — ночью, свиньи — днем. И это не только в XVII веке.

Я никогда не забуду, как однажды, в первый день Пасхи, встретил на углу Бассейной и Надеждинской кучку пьяных, которые, шагая посередине улицы, горланили: Христос воскресе! — вместе с чудовищной, тоже, увы, единственной, русскою бранью. И надо всей Россией, над одной Россией стоит в этот день „гул всезвонных колоколов“, смешанный с матерной бранью.

Понятно, почему Лейбниц говорил о русских: „крещеные медведи“; а ученый швед, Иоанн Ботвид, в 1620 году, в Упсальской академии защищал диссертацию: „Христиане ли московиты?“

Тут не только эмпирическая, но и мистическая противоположность европейской воли к восхождению и русской воли к нисхождению. Они и мы не понимаем друг друга именно в этом, самом главном. Если они для нас, то и мы для них — „Каины“. Только они вежливее: не говорят нам этого в лицо.

Была когда-то и в Европе воля к нисхождению; но в самой глубине ее, в самой тьме средних веков не утратил Запад воли к свету, к восхождению, к Возрождению. Западный свет во тьме светит, и тьма не объяла его. А наш русский — уже обнимает. Уже „хаос шевелится под нами“.— „Хаос в нашем душевном теле“,— это и Вяч. Иванов чувствует.

Что, если русская воля к нисхождению — воля к хаосу?

VI

В маленьком недавнем случае со смертной казнью испанского анархиста Феррера выразился этот мистический рубеж между русским Авелем и европейским Каином. На одном конце Европы кого-то повесили — и вся она, как один человек, содрогнулась от гнева и ужаса. А чего бы, казалось? На другом конце — сколько вешают! Но ей до этого дела нет. Эскимосы едят сырое мясо, а русские вешают.

Однажды Европе почудилось, что и нам сырое мясо опротивело: Каин подошел к Авелю с братским приветом. Но это оказалось недоразумением — и Каин вновь отшатнулся от Авеля: живите де по-своему,— во Христе нисходите, умирайте, убивайте друг друга; мы не судим вас,— только и вы не мешайте нам жить по-нашему, по-окаянному.

И вот они летят, а мы сидим в луже, утешаясь тем, что это вовсе не лужа, а „русская идея".

Св. Христофор не узнал Младенца Христа, которого нес на плечах. Не так же ли Россия, слепой великан, не видит, кого несет,— только изнемогает под страшною тяжестью, вот-вот упадет раздавленная? Не видит Россия, кто сидит у нее на плечах,— Младенец Христос или щенок Антихристов.

VII

Что если русская идея — русское безумие?

Опасность этого безумия сознает и Вяч. Иванов, но отвлеченно, бездейственно. „Опасность,— говорит он,— самоубийственная смерть — тогда, когда умирающий (нисходящий) недостоин умереть, чтобы воскреснуть.— Прежде чем нисходить, мы должны укрепить в себе свет; прежде чем обращать в землю силу, мы должны иметь эту силу".

Должны, но имеем ли? — вот вопрос. Если имеем, если укрепили в себе свет, то почему же „хаос в нашем душевном теле, и мы ничего не решили, не выбрали окончательно,—

Ни Зверя скиптр нести не смея,
Ни иго легкое Христа?“

Какой же свет там, где нельзя отличить Христа от Зверя? Какая крепость там, где хаос?

Существует предел, за которым нисхождение становится низвержением во тьму и хаос. Не чувствуется ли именно сейчас в России, что близок этот предел, что нисходить дальше некуда: еще шаг — и Россия — уже не исторический народ, а историческая падаль?

Нисхождение и восхождение,— две чашки весов: если одна подымается с тяжким скиптром, то другая опускается не под легким игом.

Сказать: нисходим,— значит не сказать ничего, в смысле религиозной воли, религиозного действия. Действие начинается только тогда, когда нисходящий говорит: „Довольно,— пора восходить“. Сейчас в России вопрос о воле есть вопрос о том, как относится нисхождение наше к восхождению, русская церковь к русской власти.

Вяч. Иванов не только не ответил, но и не поставил этого вопроса. Он смотрит, как чашки весов колеблются, и пальцем не двинет, чтобы поднять одну и опустить другую.

Нет, спасение наше не в том, чтобы, сознав себя народом-христоносцем, в других народах видеть Каинов; спасенье наше в том, чтобы увидеть, наконец, свое собственное „окаянство“, почувствовать себя не „христоносцами“, а „христопродавцами“ именно здесь, в этой страшной воле к нисхождению, к совлечению, к саморазрушению, к хаосу; чтобы понять, что Россия, только в о с х о д я щ а я, в о с с т а ю щ а я на скиптр Зверя, может понести на плечах своих легкое иго Христа.

Но не мертвец, восстающий из гроба, а погребенный заживо — Россия нынешняя. Кричит, стучит в крышку гроба — и никто не слышит, только могильную землю, горсть за горстью, набрасывают и ровняют, утаптывают — холм насыпали, крест поставили. Достоевский пишет на кресте: „Смирись, гордый человек!“ Л. Толстой: „Непротивление злу“. Вл. Соловьев: „Дело не в этом“. Вяч. Иванов: „Духом Св. воскресаем“.

Нет, не Духом Св. воскресаю, а духом Звериным удушаюсь, умираю,— мог бы ответить погребенный.— Кричу, стучу — и никто не слышит. Уже земля обсыпалась, задавила меня. Больше не могу кричать, голоса нет. Земля во рту.

КОГДА ВОСКРЕСНЕТ

„У нас прежде, нежели во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресение Христово. Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит, в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова Христос воскрес,— и поцелуй, и всякий раз так же торжественно наступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и гудят по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят".

Это говорит Гоголь, чей праздник совпал со Светлым праздником. Не для того ли, чтобы умерший, вечно живой, сказал нам снова то, что говорил при жизни, никем не услышанный? Неужели и теперь не услышим?

„Нет, не воспраздновать нынешнему веку Светлого праздника так, как ему следует праздноваться",— заключает он.

Почему же не воспраздновать? Почему, в самом деле нам праздник не в праздник? Почему он исчез, как будто навеки затмился?

Помните, как в детстве казалось нам, что солнце на небе играет в этот день, как ни в один из других дней года? Отчего же теперь меркнет, гаснет — как будто света не стало в наших глазах? Отчего „гулы всезвонных колоколов" гудят и гудят над нами, как будто не воскресным, а похоронным звоном? Уста произносят: Христос воскрес,— уста отвечают: воистину воскрес; а сердце молчит,— сердце молчит, как будто, если и воскрес, то не для нас?

„Знаю, что люди, совершающие преступления, которые они называют казнями, не услышат, потому что не хотят слышать того, что я кричу, о чем умоляю их: но я все-таки не перестану кричать, умолять их об одном и том же до последней минуты моей жизни“,— говорит Л. Толстой в недавней статье своей: «Христианство и смертная казнь».

„Лев Николаевич просит вам написать, что статья Жуковского о смертной казни ему известна и всегда возмущала его.— Лев Николаевич находит, что вы очень хорошо сделали, что возобновили в памяти читателей это старое ужасное кощунство“,— пишет секретарь Толстого в частном письме по поводу одной, тоже недавней статьи о смертной казни. А в конце письма приписывает сам Толстой слабеющей старческой рукой:

„Я в последние дни чувствую себя очень слабым от возобновившегося нездоровья,— в сущности, от старости; но хочется самому написать вам, хоть несколько слов, в благодарность за вашу статью и, в особенности,— хорошее письмо. Стараюсь, сколько умею и могу, бороться с тем злом представления церковной лжи на место истины христианства, на которое вы указываете; но думаю, что освобождение от лжи достигается не указанием на ложь лжи, а на полное усвоение истины, такое, при котором истина становится единственным или, хотя [бы] главным, руководителем жизни...“

Один, среди гробовой тишины, кричит он все глуше и глуше, замирающим голосом, как будто и вправду „накинули намыленную веревку на его старую шею“,— кричит и будет кричать до последней минуты жизни своей, повторять одни и те же слова упорно, утомительно однообразно, безнадежно, почти бессмысленно, почти тупо: „Это ужасно, ужасно, ужасно!.. Да, положение теперешнего христианского человечества ужасно!.. Нехорошо убивать друг друга!..“

„Убивать за убийство,— говорит Достоевский,— несоразмерно большее наказание, чем само преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье: тут всю последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче, отни-

мают н а в е р н о; тут приговор, и в том, что наверно не избегнешь, вся ужасная-то мука и сидит — и сильнее этой муки нет на свете.— Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? — Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать".

„У нас (в России) смертной казни нет",— радуется Достоевский, не подозревая, какою насмешкою сделаются эти слова через сорок лет.

„Священник вполголоса читал молитвы.— Подошли два другие помощника, проворно сняли с Тропмана камзол, завели ему руки назад, связали их крест-накрест и опутали все тело ремнями... Тропман покорно наклонял голову. Священник растягивал слова молитвы... Я не мог отвести взора от этой тонкой юношеской шеи... Воображение невольно проводило по ней поперечную черту... Вот тут, думалось мне, через несколько мгновений, раздробляя позвонки, рассекая мускулы и жилы, пройдет десятипудовый топор... Я видел, как палач вдруг вырос на левой стороне гильотинной площадки; я видел, как Тропман взбирался по ступеням... как он остановился наверху, как справа и слева два человека бросились на него, точно пауки на муху, как он вдруг повалился головой вперед и как подошвы его брыкнули... Но тут я отвернулся и начал ждать, а земля тихо поплыла под ногами... Наступила бездыханная тишина... Потом что-то вдруг глухо зарычало и покатилось — ухнуло... Точно огромное животное отхаркнулось... Все помутилось..." (И. С. Тургенев. К а з н ь Тропмана. 1870).

Все помутилось, потемнело и в наших глазах. Потемнело и Светлое Воскресение.

Вот почему нам праздник не в праздник. Не можем, не хотим, не должны мы праздновать Воскресение Умершего там, где происходит умерщвление живых. Нельзя Христу воскреснуть там, где еще распинают Христа. Нельзя теми же устами петь: Х р и с т о с в о с к р е с,— которые вопят: р а с п н и Е г о! — Ибо, что такое всякая новая казнь в человечестве, как не новое распятие Сына Человеческого?

Не повторяется ли вечно в казни всех казнимых казнь Казненного за всех?

„Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня“.— На плахе Я был, и вы не узнали Меня.

Кощунство, скажут, сравнивать Христа со злодеями. Но не кричал ли народ и о Нем: смерть Ему! а отпусти нам Варавву? — Не был ли и Он распят между двумя разбойниками и к злодеям причтен?

Что такое крест, как не римское орудие казни — то же, что французская гильотина и русская виселица? Для чего же на кресте и умер Он, как не для того, чтобы сделать орудие казни орудием спасения? Смертью смерть попрал — не значит ли это: собственною смертною казнью смертную казнь попрал, отменил, упразднил, уничтожил на веки веков? — А если нужно казнить и после Него, значит, Он умер и не воскрес; значит, все еще крест — орудие казни, „проклятое древо“, и все еще „проклят висящий на древе“.

Где возносится виселица, там низлагается крест. На месте Креста Господня, виселица — антихристов крест.

От этого-то креста антихристова и протянулась по всей России черная тень; от него-то и померкло солнце Воскресения. Как будто „гулы всезвонных колоколов“ гудят: Христос не воскрес,— и сердце наше отвечает: воистину не воскрес.— „Пасха красная“,— поет Церковь, а нам кажется, что она от крови красная.

Будем ли спрашивать, за что нет над нами благословения Божьего, как будто Бог отступил от нас, и стала проклятою святая Русь? Вот чаша гнева в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешения, и Он наливает нам из нее; даже дрожжи ее будем выжимать и пить. Беда за бедою, позор за позором, Цусима за Цусимою. Кажется, нельзя ниже пасть, а все-таки падаем. За что? Не за то ли, что так привыкли к виду крови, что уже не видим, не слышим этого позора позоров?

. . . .

И еще смеем говорить о „Великой России", о нашем „честном и добром, национальном лице", смеем спрашивать, куда оно девалось, почему его не видно. К плахе пригнул палач — вот почему не видно.

Что ужасно и отвратительно есть мясо человечье, человеку нельзя доказывать. Так нельзя доказывать, что смертная казнь ужасна и отвратительна, что „убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье".

Простое убийство уничтожает религиозную жизнь убийцы; смертная казнь — религиозную жизнь всего народа. Казня одного, казним всех; убивая тело одного, убиваем душу всех.

Кто же это сделал с нами? Кто виноват?

Не будем обвинять других, себя оправдывать. Нет правых, все виноваты — и я, который пишу, и ты, который читаешь,— все виноваты: кровью куплена жизнь, которой мы живем, кровью напитан воздух, которым дышим, кровью смочен хлеб, который едим, с кровью смешана вода, которую пьем. Мы это знаем, видим; другие слепы или не хотят видеть. Преступнее видящие; слепые несчастнее.

И пусть не говорят нам, что смертная казнь нужна для спасения России. Ну, а если бы нужно было снова распять Христа, чтобы спасти Россию, мы бы распяли? — В этот день, по крайней мере в этот день, верим, что не распяли бы.

„Зачем этот утративший значение праздник? — спрашивает Гоголь.— Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окликнувши, уходит, как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же уцелели кое-где люди, которым кажется,— как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество, то младенчество, от которого небесное лобзание, как бы лобзание вечной весны, изливается на душу?.. Зачем все это и к чему это?.. Будто не известно, зачем, будто не видно — к чему? — Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу на небе, и, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряда других дней,— в один бы день

только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга... Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за это, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может быть, за одно это желание уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней".

Да, может быть, недаром в день Воскресения воскресший Гоголь снова, как некогда, падает к нашим ногами и вопит раздирающим сердце воплем: „Хотя бы только пожелать так!.."

Есть в человеке воля всемогущая, есть вера в чудо, которая сама уже чудо. Пожелаем же такою волею, поверим такою верою в чудо Воскресения Христова, в чудо воскресения России.

Не будем умолять: отмените,— а со Христом, смертью смерть поправшим, казнью казнь отменившим, отменим сами смертную казнь.

И тогда только воспразднуем Светлый Праздник; тогда только заиграет солнце на небе и гулы всезвонных колоколов загудят: Христос воскрес!

И ответит вся Россия:
Воистину воскрес!

П Р И Л О Ж Е Н И Е

З. Н. Гиппиус

СОВРЕМЕННАЯ ЗАПИСЬ *

1914—1919 гг.

Д н е в н и к

(Извлечения)

---

* Отдел рукописной и редкой книги Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ф. 481 Ед. хр. 1, 2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Я говорю заранее: моя книга не для любителя сенсаций. Она для внимательного и не ленивого взора тех, кто хочет знать, как переживал сознательный — культурный и политический — слой русского общества великие потрясения своей страны...

Пункт, с которого довелось мне наблюдать события, очень благоприятен. И даже вдвойне благоприятен — внутренне и внешне.

Много лет я живу в общественной петербургской среде, которую принято считать цветом русского культурного общества. Из нее вышли все деятели февральской революции, и почти все они лично давно мне знакомы. Во времена царизма — благодаря его условиям — русское общество не разделялось на профессиональные круги; не было круга чисто писательского, чисто политического и т. п. Все в известной мере были «политиками» — слишком одинаково давило правительство на всю мыслящую часть общества, и все мы, более или менее, жили одной жизнью и одними и теми же интересами.

Таков мой внутренний наблюдательный пункт. Не менее счастливым оказалось, случайно, и мое внешнее, так сказать «географическое», положение, Петербург — исток и центр событий. Но и в самом Петербурге был центр революции — это Таврический дворец. Там заседала Государственная Дума. Туда текли стотысячные толпы народа и войск. Туда везли арестованных министров. Там родилось Вр. правительство. Там, наконец, впервые поднял голову, под водительством «крайних» думцев, Совет Раб. и Солд. Депутатов.

Окна дома, где я живу, выходят в сад Таврического дворца. С низкого балкона я вижу направо —

приземистый купол дворца, а налево тянется широкая, прямая, как стрела, бесконечная улица (Сергиевская). Теперь она пустынная, но когда-то непрерывно, дни и недели, волновавшаяся красными знаменами, стотысячными шествиями.

Февральская революция почти вся прошла под нашими окнами. И еще недавно, морозной ночью, во дворце заседало несчастное Учредительное Собрание... В ту ночь мы были окружены пулеметами и бродячими бандами матросов. Сквозь них друзья наши, после разгона, пробирались к нам, подняв воротник, боясь быть узнанными...

С тех пор дворец опустел. Новая резиденция новых «правителей» — Смольный — чуть видна с моего балкона, чуть блестит золотой шпиль за деревьями Таврического сада. Теперь почти опустел и Смольный.

Но все это читатель найдет в книге, если дела чужой и далекой страны заинтересуют его. Здесь я прибавлю одно: моя книга не «объективна» — в том смысле, что наряду с перечнем фактов она дает и оценку их. Это неизбежно, если иметь определенную точку зрения и общую позицию, которую я, впрочем, называю только «позицией здравого смысла».

Фактам я даю, однако, предпочтение. Но избегаю всего, известного через «третьи» руки. Говорю об очевидном и о том, что знаю непосредственно от очевидцев.

Вот все, что я хотела сказать далекому читателю прежде, чем он развернет для нас, русских, такую страшную — книгу.

1 авг. 1914 г.— 7 ноября 1917 г.

2 авг. 1914 г.

...Все растерялись, все «мы», интеллигентные словесники. Помолчать бы,— но половина физиологически заразилась бессмысленным воинственным патриотизмом, как будто мы «тоже» Европа, как будто мы смеем (по совести) быть патриотами просто... Любить Россию, если действительно, то нельзя, как Англию любит англичанин. Тяжкий молот наша любовь... настоящая.

Что такое отечество? Народ или государство? Все вместе. Но если я ненавижу государство российское? Если оно против моего народа на моей земле?..

...Впрочем, не обошлось и без нашего «русского» вопроса: желать ли победы... самодержавию? Ведь мы вечно от этой печки танцуем (да и нельзя иначе, мы должны!). Военная победа — укрепит самодержавие... Приводились примеры... верные. Только... не беспримерно ли то, что сейчас происходит?

Говорили все, собрались у Славинского (личность этого человека установить не удалось.— *С. С.*). Когда очередь дошла до меня, я сказала очень осторожно, что войну, по существу, как таковую отрицаю, что всякая война, кончающаяся полной победой одного государства над другим, над другой страной, носит в себе зародыш новой войны, ибо рождает национально-государственное озлобление, а каждая война отделяет нас от того, к чему мы идем, от «вселенскости». Но что, конечно, учитывая реальность войны, я желаю сейчас победы союзников.

Керенский, который стоял направо, рядом со мною и говорил тотчас после меня, подхватил эту «вселенскость» (упорно говоря «вселенность») и, с обычной нервностью своей, сказал приблизительно то же и также кончил «за союзников». Но видно, что и он еще своей позиции не нашел. Военная зараза к нему пристать не может просто потому, что у него не та физиономия, он слишком революционер ...

28 апр. 1915 г.

...Москвичи осатанели от православного патриотизма. Вяч. Иванов, Эрн, Флоренский, Булгаков, Трубецкой и т. д. и т. д...

15 мая 1915 г.

...Да и до войны я не любила нашу «парламентскую оппозицию», наших кадетов. И до войны я считала их умными, честными... простофилями, «благородными иностранцами» в России. Чтобы вести себя «по-европейски» и чтобы это было кстати, надо позаботиться устроить Европу...

...недавно у нас было еще собрание. Интеллигенция, не пристающая ни к кадетам, ни к революционерам (беру за одну скобку левые партии). Это — так называемые «радикалы». Они большею частью у нас из поправевших эсдеков... Но довольно странно, что тут же очутился и Горький. И даже в таких близких настроениях, что как будто вместе они все строят «радикально-демократическую» партию... Были кое-кто из нетвердых кадетов... Были все наши «седые и лысые». Была Кускова. Единственная умная женщина, одна и на Петербург, и на Москву (она живет в Москве). Умная — но необыкновенно непроницательная, близорукая, в той же политике ...

...Я забыла сказать, что зимой, когда сдвинулись особенно все «вопросы» (польский, еврейский и т. д.) и когда я сказала, что признаю первым и главным — вопрос русский, это дало кому-то мысль образовать еще одну группу — «русскую». Сказано — сделано, готово! Есть русская группа. О смысле такой группы мы не очень подробно сговорились. Некоторые, как Мейер, Керенский и, отчасти, Дмитрий (Мережковский.— *С. С.*) поняли «группу» в моем смысле, т. е. как наш русский вопрос — наш внутренний и наше к нему отношение в данный момент, при войне. Коренной, неизбытный вопрос, от разрешения которого зависят автоматически все другие. Поэтому важен так был Керенский, позиция которого мне все больше и больше нравится.

На первом же собрании выяснилось, что многие совсем не понимают, в чем суть, а иные, как, например, Карташев со своей национальной тягой, склонны были сделать из этой «группы»,— членами которой мнили только по крови русских! — зерно какой-то педагогической академии, где бы интеллигенция петербургская поучалась националистическим чувствам. Помню, как твердокаменный Ник. Дм. Соколов завел длинную шарманку о... федерализме!

Дмитрий о самодержавии (не в практических тонах), Карташев свое... Керенский, конечно, свое, и верное, но сбивчиво, и только бегал из угла в угол, закуривал и бросал папироску, загорался и гас. Мейеру поручено было составить записку по существу вопроса, я взялась ему помогать, но как-то уже видно было, что толку дальнейшего не будет. И не было. Записку мы, однако, написали. В очень осторожных тонах, не помню ее точно, помню лишь, что там говорилось о некоторых допустимых и при войне действиях на правительство, но революционного порядка, ввиду того, что положение ухудшается; что если даже во время войны и не будет никаких неорганизованных, стихийных внутренних вспышек,— а и они возможны,— то после войны пожар неизбежен, а чтобы он не был стихийным — об организационном деле надо думать теперь же. Уже с этого момента. Изумительно, что ни Горький, ни Кускова, ни один «седой и лысый» даже не поняли, о чем речь. Даже никакого «вопроса» не усмотрели... Впрочем, Кускова и раньше, когда была у нас одна, на мой окольный вопрос: «как бы у нас да не было революции? — сказала твердо:

— Никакой революции ни под каким видом не будет.

— А что же будет?

— Enrichisse [ment] vous (обогащение, *фр.— С. С.*), вот что будет.

28 мая 1915 г.

...Как противна наша присяжная литература. Завопила, как зарезанная, о войне с первого момента. И так бездарно, один стыд сплошной. Об Андрееве я и не говорю, этот присяжный дурак и бестактник не мог в лужу не сесть при сем удобном случае. Но Сологуб! Но Брюсов! Но Блок! и все по нисходящей линии. Не хватило их на молчание. И наказаны печатью бездарности...

4 сент. 1915 г.

...Разговор с Керенским по телефону (После роспуска Думы при Горемыкине.— *С. С.*).

— Что же теперь будет? — спрашиваю я под конец.

— А будет... то, что начинается с а...

Керенский прав, и я понимаю: будет анархия. Во всяком случае нельзя не учитывать яркой возможности неорганизованной революции, вызываемой безумными действиями Пр-ва в ответ на ошибки политиков. «Умеренные» просьбы должны давать правит. реакцию. Лишь известная политическая неумеренность может добиться необходимого минимума.

А только он спасет Россию. Его нет, и каждый день стены сдвигаются: стена немцев и стена хаотического бунта внутреннего. Они сдвинутся и сольются. Какие возможности!

Я не устану повторять все то же, все то же: ответственность всецело лежит на кадетах, которые, не понимая момента, выбрали блок с правыми вместо блока с левыми...

24 ноября 1915 г.

...А события будут! Неумолимо будут, если Россия не пересидела свое время, не перегноилась, не перепрела в крепостничестве. Возможно, ведь, и это...

...Плеханов и другие заграничники вредны становятся (мало, ибо значения не имеют), но они вполне невинны: оттуда не видать ничего! Ровно ничего!..

...Керенский уверяет, что болен. Он часто к нам забегает. Я пишу ему противосамодержавные (очень осторожные, однако, в смысле собственной цензуры) прокламации. Последний раз было неудачно: все отпечатали, но пришлось уничтожить и удирать. Рукописи он мне возвращает...

3 октября 1916 г.

...Никто не сомневается, что будет революция. Никто не знает, какая и когда она будет. И — не ужасно ли? Никто не думает об этом! Оцепенели...

14 ноября 1916 г.

...Я уезжаю в Кисловодск. Не стоит брать с собой эту книгу. Записывать не около решетки Таврического дворца можно лишь «психологию» (логические выводы все уже сделаны), а психология скучна. Вне Петербурга у нас ничего не случается, это я давно заметила, ничего, имеющего значение. Все только

приходит из Петербурга, зачавшись в нем. И знать, и видеть, и понимать (и писать) я могу только здесь...

14 ноября 1916 г.

...Было у нас заседание Совета Религ. Ф. О-ва (насчет собрания в память еп. Михаила). Не знаю, как нынешнюю зиму сложатся собрания нашего Общества. Думаю, мало что выйдет. Первая «военная» зима (14—15) прошла очень остро, в борьбе между «нами», религиозными осудителями войны как таковой, и «ними», старыми «националистами», вечными. Вторая зима (15—16) началась, после долгих споров, вопросом «конкретным», докладом Дм. Вл. Философова о церкви и государстве, по поводу «записки» думских священников, весьма слабой и реакционной. Были, с одной стороны, эти священники, беспомощно что-то лепетавшие; с другой стороны — видные думцы. Между прочим, говорил тогда и Керенский...

...Книга Бердяева (по-видимому, «Смысл творчества: Опыт оправдания человека».— *С. С.*) интересна лишь в смысле ее приближения к полуизуверской секте «Чемряков»-щетининцев. Эту секту, после провала старца — Щетинина, подобрал прохвост Бонч-Бруевич (Щетинин — неудачливый Распутин) и начал обрабатывать оставшихся последователей на «божественную» социал-демократию большевистского пошиба. Очень любопытно...

Дек. 1916 — нач. янв. 1917.

...Будет, значит, крах, бунт, анархия... почем я знаю? Я боюсь, ибо во время войны революция только снизу — особенно страшно. Кто ей поставит пределы? Кто будет кончать ненавистную войну? Именно кончать?..

«...Другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь...» — несчастный народ, несчастная Россия...

22 февр., среда 1917 г.

...Но констатирую полный внешний штиль всей недели. Опять притайно. Дышит ли тайной?..

Театры полны. На лекциях биток. У нас в Рел. Фил. О-ве Андрей Белый читал дважды. Публичная лекция была ничего, а закрытое заседание довольно

позорное: почти не могу видеть эту праздную толпу, жаждущую «антропософии». И лица с особенным выражением — я замечала еще на лекциях-проповедях Штейнера: выражение удовлетворяемой похоти...

25 февр., суб. 1917 г.

...Карташев упорно стоит на том, что это «балет»,— и студенты, и красные флаги, и военные грузовики, медленно двигающиеся по Невскому за толпой (нет проезда), в странном положении конвоирующие эти красные флаги...

28 февр., вторник.

...Стоит взглянуть на Комитетские «Известия», на «Извещение», подписанные Родзянкой. Все это производит жалкое впечатление робости, растерянности, нерешительности. Из-за каждой строчки несется знаменитый вопль Родзянки: «Сделали меня революционером! Сделали!»

Между тем ясно: если не их будет сейчас власть — будет очень худо России. Очень худо...

7 марта, вторник.

...Да, Россией уже правит «митинг» со всей его митинговой психологией...

8 марта, среда.

...Я невольно уступаю, я говорю и о «митинге» (Мейер), и о Тришке-Ленине (О Ленине — это специальность Дмитрия: именно от Ленина он ждет самого худого), о проклятых «социалистах» (Карташев)...

11 марта, суббота.

...С трех часов у нас заседание совета Религиозно-Фил. О-ва. Хотим составить «записку» для правительства, оформить наши пожелания и указать пути к полному отделению церкви от государства...

14 марта, вторник.

...Честное слово, я не могу поймать в словах его (Керенского.— *С. С.*) перемену, и, однако, она уже есть. Это чувствуется...

...Быть может, он на одну линейку более уверен в себе и во всем происходящем — нежели нужно?..

17 марта, пятница.

...Синодский прокурор Львов настоятельно зовет к себе в «товарищи» Карташева. (Это не без выдумки и хлопот Агеева (священник.— *С. С.*), очевидно.)

Карташев, конечно, пришел к нам. Много об этом говорили. Я думаю, он пойдет. Но я думаю тоже, что ему не следует идти. Благодаря нашим глухим несогласиям (между ним и мной) со времени войны — я своего мнения отрицательного к его данному шагу почти не высказываю, т. е. — высказав — намеренно на нем не настаивала. Пусть делает, как хочет. Однако я убеждена, что это со всех сторон шаг ложный.

Караташев, бывший церковник (и внешне, и внутренне), за последние десять лет,— перелив, так сказать, свою религиозность и церковность, внутренно, за края церкви «православной»,— отошел от последней и жизненно. Из профессоров Духовной Акад. сделался профессором женских курсов. Порыванье жизненной этой связи было у него соединено — с отрывом внутренним, оба отрыва являлись действием согласным, и оба стоили ему не дешево. Надо при этом знать, что Карташев — человек типа «пророческого», в широком, именно религиозном смысле и в очень современном духе. В нем громадная, своеобразная сила. Но рядом, как-то сбоку, у него выросло увлечение вопросами чисто общественными, государственностью, политикой... в которой он, в сущности, дитя. Трудно объяснить всю внутреннюю сложность этого характера, но свое «двоение» он часто и сам признает.

Теперь, вступая в контакт с «государственной» стороной церкви, в контакт жизненный с учреждением, с которым этот контакт порвал, когда порвал внутренне,— он делает это во имя чего? Что изменилось? Когда?

Наблюдая, слушая, вижу: он смотрит сам на это странно, вот этой своей приставной стороной,— смотрит «узко-политически», «послужить государству» — и точка. Но ведь он, и перелившись за православные края, относится к церкви религиозно, ведь она для него не «министерство юстиции»! И он зряч к церкви, он знает, что никакой внутренней пользы церкви, в смысле ее движения, принести нельзя. Она никуда не двинется. Значит, урегулировать просто ее

отношения с новым государством? Но на это именно Карташев не нужен. Нужен: или искренний, простой церковник, честный, вроде Е. Трубецкого, или, напротив, такой же прямой, дельный и простой политик.

И то, если б стать обер-прокурором! «Товарищем» же Львова, человеку такой самобытной и громадной ценности, притом столь мучительной и яркой сложности, как Карташеву,— это со всех сторон — затмение, самоизничтожение. Даже грубо смотря — жалко: он худ, остр, тонок, истеричен, проникновенно умен, порывист — и сдержан, вибрирует, как струна, слаб здоровьем; нервно-работоспособен и при неистовой его добросовестности погрязнет до тла в государственно-синодально-поповских делах и делишках.

И во всяком случае будет потерян для своего, для глубины своей сущности. (Прибавлю, что «политика» его — кадетирующая, военная, национальная...)

25 марта, суббота.

...Дмитрий, конечно, сел на своего «грядущего» Ленина, принялся им Керенского вовсю пугать, говорит, что и Керенский от Ленина тоже в панике, бегал по кабинету... хватался за виски: нет, нет, мне придется уйти!

Были похороны «жертв» на Марсовом поле. День выдался грязный, мокрый, черноватый. Лужи блестели. Лавки заперты, трамваев нет, «два миллиона» (как говорили) народу — и в порядке, никакой ходынки не случилось.

Я (вечером, на кухне, осторожно): Ну, что же там было? И как же там схоронили, со святыми упокой, вечной памяти даже не спели, зарыли — и готово...

Ваня Румянцев (не Пугачев, а солдат с завода, щупленький): Почему вы так думаете, Зинаида Николаевна? От каждого полка был хор, и спели все, и помолились как лучше не надо, по-товарищески. А что самосильно, что этих попов не было, так на что их? Теперь эта сторона взяла, так они готовы идти, даже стремились. А другая бы взяла, они этих самых жертв на виселицу пошли бы провожать...

Нет уж не надо... И я молчу, не нахожу возражения, думаю о том, что ведь и Толстого они не пошли провожать и не только не «стремились», а даже молиться о нем не молились... начальство запретило.

Тот же Аггеев, из страха перед «ЕН» (епархиальным начальством.— *С. С.*), как он сам частным письмом признался, даже на толстовское заседание Рел. Фил. О-ва не пошел! (после смерти Толстого). Я никого не виню, а лишь отмечаю.

А Гришку Питирим соборне отпел и под алтарем погреб.

Безнадежно глубоко (хотя фатально-несознательно) воспринял народ связь православия и самодержавия...

19 июля, среда.

...На мой вопрос о Керенском (Б. В. Савинкову.— *С. С.*). (Я писала, что мы ближе всего к позиции Керенского.)...

18 авг., пятн.

...А вот слова Карташева, конец его речи на открытии Собора в Москве...

Исполнив долг сего заявления от имени Временного Правительства, я не смею ничем осложнить дальнейшую речь и обнаруживать волнующие меня чувства за нашу церковь и наше родное Отечество. Осеню лишь себя вместе с вами широким Православным крестом.

Комментарии лишни. Это почти конец. Уже?

20 сент., среда.

...Вчера — Борис (Савинков.— *С. С.*). У него теперь проект соединения с казаками (и если не выйдет с ними газета — ехать на Дон). На это соединение я гляжу весьма сомнительно. Не только для нас, но и для него. Жечь корабли надо, но разумно ли все? И какую такая газета будет иметь «видимость»? Целесообразно ли рыть хотя бы «видимую» лишь пропасть между собою и праведно откалывающейся частью эсэров, стоящих на верном пути? Не следует ли сейчас говорить самые правые вещи — в левых газетах?

Не это ли только имеет значение?..

...Сейчас был Карташев, приехавший из Москвы. Он как бы ушел... а в сущности нет. Занимается ведомством, отставка его не принята, «соборники» и синодчики всполошились, как бы к церкви не был приставлен «революционер», «социалист», т. е. «не-

верующий в нее». Послали митр. Платона к Керенскому с просьбой оставить им Карташева. (Т. е. не революционера, не социалиста; верующего в церковь.)...

21 сент.

...Что касается казаков и казачьей газеты, то я — против. Это не средство для достижения целей Бориса (Савинкова.— *С. С.*). Действовать «право» — надо, но действительна эта правизна лишь из левого угла.

Карташев бредит новым блоком направо — без предела. Нет, если спасать все-таки «стенающую тварь»,— нужна мера. А без меры — прежде всего не выйдет...

...Предсказывают скорую резню. И серьезную. Конечно! Очень серьезную...

Впрочем, в последний раз я не стихами только занималась: Мейер дал мне свое «воззвание» против большевиков. Длинные, скучные страницы... А помоему — следовало бы манифест, резкий и краткий, от молчаливой интеллигенции. «Ввиду преступного слабоволия правительства»... Так я и написала. В конце Дмитрий (Мережковский.— *С. С.*) подбавил. Сегодня я отдала Мейеру.

Но, конечно, я понимаю: ведь это опять лишь слова! слова! И даже на слова, такие определенные, уже неспособна интеллигенция. Какой у нее «меч духа». Ни черта не выйдет, тем более, что тут Мейер. С ним как-то особенно не выходит...

30 сент., суббота.

...Керенский продолжает падение, а большевики уже бесповоротно овладели Советами. Троцкий — председатель!

Когда именно будет резня, пальба, восстание, погром в Петербурге — еще не определено. Будет...

19 окт., четв.

...Было у нас много разных «газетных» заседаний, бывали мы у Ляцкого, но вот отмечу один недавний вечер как не лишенный любопытности.

У Глизберга (крупного дельца.— *С. С.*) на Вас. Остр. По инициативе Мейера, вкупе с теми интелли-

гентскими кружками (ныне раздробленными остатками, не пристроенными или полупристроенными к пр-ву), что процветали у нас до революции. Ну, и всякого жита по лопате. Цель — посовещаться о возможности коллективного протеста интеллигенции против большевиков. Замечательно, что самого Мейера не было: уехал зачем-то в Новгород. Лекции, что ли, читать (Вовремя!). Докладывала его проекты Ксения Половцева. Тут явился на сцену и мой резкий манифест с Красной Дачи.

Мы, с Борисом и Ляцким, приехали, когда было уже порядочно народу. Жаль, что не помню всех. Была Кускова (она в «предбаннике», а муж ее, Прокопович, чего-то министр). Был ничего не понимающий Батюшков...

...Был Карташев, Макаров, конечно, кн. Андроников и т. д.

Ни малейшей тени «коллективизма» не вышло, конечно. О предмете, т. е. о большевиках и о данной минуте, говорил только Борис (Савинков.— *С. С.*), предлагавший как можно скорее собрать полуоткрытый митинг, да мы, защищавшие наш резкий манифест и вообще стоявшие хоть за какое-нибудь определенное реагирование.

Карташев совершенно безотносительно занесся в свое, в мечты о создании опять какой-то «национальной» партии со Струве, говорили и другие — вообще, но со слезой, а больше всех меня поразила Кускова, эта умная женщина, отличающаяся какой-то исключительной политической и жизненной недальновидностью...

...Она говорила длинно-предлинно, и смысл ее речи был тот, что «ничего не нужно», а нужно все продолжать, что интеллигенция делала и делает... Допускала, что, «может быть, и нужна борьба с большевиками», но это дело не наше, не интеллигентское (и выходило так, что и не «правительственное»), это дело солдатское, может быть и Бориса Викторовича. А «наше» дело — значит, работать внутри, говорить на митингах, убеждать, вразумлять, потихоньку, полегоньку свою линию гнуть, брошюрки писать...

Да, где она? Да, когда это все? Завтра эти «солдатики» в нас из пушек запалят, мы по углам попрячемся, а она — митинги! Я не слепая, я знаю, что

от этих пушек никакие манифесты интеллигентские не спасут, но чувство чести обязывает нас вовремя поднять голос, чтобы знали, на стороне каких мы пушек, когда они будут стрелять друг в друга...

За ужином вышел чуть ли не скандал. Дмитрий (Мережковский.— *С. С.*) стал очень открыто и верно (совсем не грубо) говорить о Керенском. Князь Андроников почти разрыдался и вышел из-за стола: «Не могу, не могу слышать этого о святом человеке!

Ну, все в подобном роде. Великолепный, по нынешним временам, ужин. Фрукты, баранки, белое вино. Глизберг — хозяин. Результат никчемный.

Главное впечатление — точно располагаются на кипящем вулкане строить реальное училище. Дым глаза ест, земля трясется, камни вверх летят, гул — а они меряют вышину окон, да сколько бы ступенек хорошо на крыльцо сделать. Да и то не торопятся. Можно и так погодить. Еще посмотрим...

24 окт., вторник.

...Бедное «потерянное дитя», Боря Бугаев (А. Белый.— *С. С.*), приезжало сюда, уехало обратно в Москву. Невменяемо. Безответственно. Возится с этим большевиком — Иван-Разумником...

Другое «потерянное дитя», похожее,— А. Блок. (Он сам сказал, когда я говорила про Борю: «И я такое же потерянное дитя».) Я звала его в Савинковскую газету, а он мне и понес «потерянные вещи»: что я, мол, не могу, я имею определенную склонность к большевикам (sic!). Я ненавижу Англию и люблю Германию...

Спорить с ним бесполезно. Он ходит «по ступеням вечности», а в «вечности» мы все большевики. (Но там, в этой вечности, Троцким не пахнет, нет!)

С Блоком и с Борей (много у нас этих самородков!) можно говорить лишь в четвертом измерении. Но они-то этого не понимают, и потому произносят слова в 3-х измерениях, прегнусно звучащие. Ведь год тому назад Блок был за войну («прежде всего — весело!» — говорил он), был исключительно ярым антисемитом («всех жидов перевешать») и т. д.

6 ноября, понедельник.

...Плеханов плох. Переведен в больницу.

Картина,— а вернее загадочная картинка: «ищите вождей». В самом деле: где Чернов? где Бунаков?.. где Гоц? где Керенский? где Брешковская? где Авксентьев? где Соколов? где Чхеидзе? где Церетели?.. и т. д. и т. д. И перечислять нечего, просто — где все? Никого нет. Все скрываются...

7 ноября, вторник (поздно).

...Да, черная, черная тяжесть. Обезумевшие диктаторы Троцкий и Ленин сказали, что если они даже двое останутся, то и вдвоем, опираясь на «массы», отлично справятся. Готовят декреты о реквизиции всех типографий, всей бумаги и вообще всего у «буржуев», вплоть до хлеба.

18 ноября, суббота.

...Сегодня, в крепости (Петропавловской.— *С. С.*), Манухин при комиссаре — большевике Подвойском, разговаривал с матросами и солдатами. Матрос прямо заявил:

— А мы уже царя хотим.

— Матрос! — воскликнул бедный Ив. Ив.— Да вы за какой список голосовали?

— За четвертый (большевицкий).

— Так как же...??

— А так. Ненадолго уже все это...

Солдат невинно подтвердил:

— Конечно, мы царя хотим.

И когда начальствующий большевик крупно стал ругаться — солдат вдруг удивился, с прежней невинностью:

— А я думал, вы это одобрите...

Не угодно ли?

С каждым днем большевицкое «правительство», состоявшее из просто уголовной рвани (исключая главарей-мерзавцев и оглашенных), все больше втягивает в себя и рвань охранническую.

Погромщик Орлов — Киевский — уже комиссар. Газеты сегодня опять закрыты...

7 ноября, вторник.

...7 лет со дня смерти Льва Толстого. Никто его не вспомнил. Ну, я тебя вспомню, «подёнщик Христов!» Вспомни и ты о нас, счастливый.

22 декаб., пятница [*1917 г.*]

...Моя запись — «Война и Революция»... немножко «из окна». Но из окна, откуда виден купол Таврического дворца. Из окна квартиры, где весной жили недавние господа положения; в дверь которой «стучались» (и фактически даже) все недавние «деятели» правительства; откуда в августе Савинков ездил провожать Корнилова и... порог которой не переступала ни распутино-пуришкевическая, ни, главное, комиссаро-большевицкая нога. Во дни самодержавия у нашего подъезда дежурили сыщики... не дежурят ли и теперь, во дни самодержавия злейшего?..

...Занимаюсь «Вечерним звоном» (такую газетку выпускали в типографии «Речи») и сюда (в свой дневник.— *С. С.*) не заглядывала...

Почему сижу до 8 ч. утра над их «манифестами» для Учр. Собрания, над их «нотами», прокламациями и т. д.? Илюша (И. И. Бунаков-Фондаменский.— *С. С.*) приходит, как Никодим, поздно ночью, уже с заднего крыльца. Приносит свою отчаянную демагогию и вранье (в суконных словах), а я все это же самое пишу сызнова, придаю, трудясь, живую форму. Зачем я это делаю?

Сознательно. Илюша не хуже меня понимает, что и «демагогия», и вранье.

Но положение следующее.

Учредительное собрание (даже все равно какое) и большевики НИ МИНУТЫ НЕ МОГУТ СО-СУЩЕСТВОВАТЬ. Или «вся власть Учр. с-ю», и падают большевики, или «вся власть Советам», и тогда падает Учр. Собрание. Или — или. Эсеры говорят, что поняли это. И приняли. И уж на этой основе строят свой план, обдумали тактику. Идут на бой. Их «вся власть Учредительному Собранию» — первое положение первого заседания; если они смогут его провести и утвердить — это и будет ПЕРЕМЕНА ВЛАСТИ. Надеются они на свое бесспорное большинство и на «идею» Учредительного Собрания. Учитывая данное состояние «массы» (как они выражаются), обольщенных большевистским «миром» и «землей», они СОЗНАТЕЛЬНО (все честные из них, даже более или менее честные,— почти все) обертывают

эту новую «власть» демагогическими конфетами. (Ведь терять нечего.) Они тоже и тут же обещают и «мир» (только всеобщий), и «землю» (только в порядке), и федеративную республику (только единую).

Не знаю, ясно ли видят они шаткость надежды, но я-то вижу, конечно: пусть «большинство» неоспоримо (они сблокировались в этих трех первых, сразу ставящихся, вопросах власти, мира и земли с представителями всех других партий, кроме большевиков и левых с-ров). Но: пере-демагогить б-ков все равно не удастся, это первое. «Идею» Учр. Собр. б-ки уже давно и умно подорвали, это второе. Уже подготовили «умы» обалдевшей черни к такому презрению к «Учредилке», что теперь и штыковой разгон — дело наипростейшее. Если у с-ров нет реальной силы, которая бы их поддержала, то, очевидно, это и случится.

А РЕАЛЬНОЙ СИЛЫ У НИХ НЕТ, по собственным признаниям. Почему же я им помогаю, несмотря: 1) на их очень вероятный провал, 2) на их заведомо лживые обеты, 3) на то, что Чернов мало чем лучше Ленина, 4) на то, наконец, что я твердо считаю, и навеки, все поведение их, с апреля по ноябрь, преступным?

А потому, что сейчас у нас (всех) только одна, узкая, самая узкая цель: свалить власть большевиков. Другой и не должно быть. Это единая, первая, праведная: свалить. Все равно чем, все равно как, все равно чьими руками. И вот в эту минуту подставляются только одни вот эти руки. В них всего 1% возможности успеха. Но выбора нет. Ибо если не эсеры со своим 1%, то В ДАННЫЙ МИГ ВРЕМЕНИ — никого, 0%.

Для каждого данного мига нужно использовать людей данного мига. Вот и все.

Когда они провалятся — будем искать следующих, кто бы они ни были, с точки зрения целесообразности их действий, пригодности средств для неизбытной, узкой, ПЕРВОЙ цели — свержения большевиков. Каждый, сейчас длящийся, день их власти — это лишнее столетие позора России в грядущем. Это не преувеличение, а, вероятно, преуменьшение.

4 янв., четверг [*1918 г.*]

...Был Илюша. Опять с «бумажками». Кое-где прибавить, кое-где убавить, кое-что иначе сказать...

5 янв.

...Спиридонова — половая психопатка...

...1-й день Учр. Собр. ...

...Пока, в «порядке дня» эсеры победили. Ведут условленную линию «манифеста», который должен быть прочитан и начинается так: «У. С., открывшись сего числа» и т. д., объявляет, что приняло всю власть в свои руки. У. С. постановило: о мире... о земле... о воле... И повелевает...

До сих пор никакого «викжелянья» не заметно. Этот «мой» манифест написан так, что его не допускает: но — повторяю — я всего жду от эсеров (Чернова). И вот в случае их внутреннего, малейшего уклона к соглашательству с большевиками — я прокляну час, когда приложила руку, чтобы помочь непростимым преступникам...

7 января

...Настроение рабочих — загадочно-смутное. Должно быть, загадочное и смутное для них самих. Миклашевский заверяет, что и на этом заводе, и вот на этом — «повернулось»... Что уличные разгромы «повлияли»... Ну, посмотрим эти повороты и влияния.

Большевики, конечно, переживают минуты паники. Протянут лапу, попробуют,— а если ничего, обошлось — тут же смелеют. И следующую лапу уже дальше протягивают. Уличный террор был не в их расчетах, но если обойдется, то пойдет к их осмелению. И сегодняшнее убийство в Мариинской больнице (Шингарева и Кокошкина.— *С. С.*) тоже может быть им невыгодно и тоже обернется в конце концов выгодой, если так пройдет. Они на глазах смелеют. Шесть месяцев тому назад они поднимались и поднимали тех же матросов во имя немедленного Учредительного Собрания, три месяца тому назад они еще не смели его разогнать, а теперь разогнали, как ни в чем не бывало. Они вертятся на тупой забвенности опьяненной толпы варваров, играют с возможностью, что в неловкий момент она их разорвет, лавируют не без легкомыслия. Но... пока очень удачно...

...Надо утвердить, что сейчас никаких большевиков, кроме действующей кучки воротил,— нет. Матросы уже не большевики ли? Как бы не так! Озверевшие, с кровавыми глазами и матерным ругательством — мужики, ндраву которых не ставят препятствий, а его поощряют.

Где ндраву разгуляться — туда они и прут. Пока — ими никто не владеет. Но ими непременно завладеет, и только ХИТРАЯ СИЛА. Если этой хитрой силой окажутся большевики — тем хуже...

11 янв., четв.

...Для памяти хочу записать «за упокой» интеллигентов-перебежчиков, т. е. тех бывших людей, которых все мы более или менее знали и которые уже оказываются в связях с сегодняшними преступниками. Не сомневаюсь, что, просиди большевики год (?!), почти вся наша хлипкая, особенно литературная, интеллигентщина так или иначе поползет к ним. И даже не всех было бы можно в этом случае осуждать. Много просто бедноты. Но что гадать в разные стороны. Важны сегодняшние, первенькие, пошедшие, побежавшие сразу за колесницей победителей. Ринувшаяся туда... не по убеждениям (какие убеждения!), а ради выгоды, ради моды, в лучшем случае «так себе», в худшем — даже не скажу. Вот этих первеньких, тепленьких, мы и запишем...

...Пока букет не особенно пышный...

Вот они.

1. Иероним Ясинский — старик, писатель белл [етрист] средней руки.
2. Александр Блок — поэт, «потерянное дитя», внеобщественник, скорее примыкал, сочувствием, к правым (во время царя), убежденный антисемит. Теперь с большевиками через лево-эсеров.
3. Евгений Лундберг — захудалый писатель, ученик Шестова.
4. Рюрик Ивнев — ничтожный неврастенический поэтик.
5. Князев — мелкий поэт.
6. Анд. Белый (Б. Бугаев) — замечательный человек, но тоже «потерянное дитя», тоже через левых эсеров, не на «службе», лишь по-

тому, что, благодаря своей гениальности, неспособен вообще быть на службе.

7. Серафимович,
8. Окунев,
9. Аксенов,
10. Рославлев,
11. Тим Карпов — всякая беллетристическая и другая мелкота из неважных, 2 первых большие писатели, имеют книги, бездарные.

12. Ник. Клюев,
13. Серг. Есенин — два поэта «из народа», 1-й старше, друг Блока, какой-то сектант, 2-й молодой парень, глупый, оба не без дарования.

14. Чуковский Корней — литер. критик, довольно даровитый, но не серьезный, вечно невзрослый, он не «пот. дитя», скорее, из породы «милых погибших созданий», в сущности невинный, никаких убеждений органически иметь не может.
15. Иванов-Разумник — литер. критик, очень серьезного дарования и вкуса, тип не Чуковского, иной. Лев. эсер, в сущности без влияния. Озлобленный.
16. Мстиславский-Маслов — офицер гл. штаба, журналист, писал при царе и в лев. журналах, и в официозе... на службе у большевиков, ездил даже в Брест.
17. Алекс. Бенуа — изв. художник, из необщественников. С момента революции стал писать подозрительные статьи, пятнающие его, водится с Луначарским, при царе выпросил себе орден.
18. Петров-Водкин — художник, дурак.
19. Доливо-Добровольский — невидимый дипломат «черносотенник», на службе у большевиков.
20. Проф. Рейснер — подозр. личность, при царе писал доносы; на службе у б[ольшевиков].
21. Лариса Рейснер — его дочь, поэтизирующая, с претензиями, слабо, на службе.
22. Вс. Мейерхольд — режиссер-«новатор». Служил в императорских театрах у Суворина. Во

время войны работал в лазаретах. После революции (по слухам) записался в анархисты. Потом в августе, опять бывал у нас, собирался работать в газете у Савинкова. Совсем недавно в союзе писателей громче всех кричал против б-ков. Теперь председательствует на заседаниях театральных с б-ками. Надрывается от усердия к большевикам. Этот, кажется, особенная дрянь...

12 янв.

...Господи! Хоть бы шведы нас взяли! Хоть бы немцы прикончили! О, если б проснуться!..

15 янв.

...На этом III съезде самоодобрение у них развито до последних степеней. Всякую фразу, независимо от ее смысла, покрывают, даже прерывают, аплодисментами (напр.: «убит солдат и двое рабочих»... аплодисменты!) и перманентно поют «Интернационал»...

22 янв.

...Сегодня хватили декрет о мгновенном лишении церкви всех прав, даже юридических, обычных.

Церкви, вероятно, закроются. Вот путь для Тихона сделаться Гермогеном.

Но ничего не будет. О, нет людей! Это самое важное, самое страшное...

25 янв.

...Сегодня, в юбилейный день его заточения, выпустили Карташева...

11 февраля, воскресенье вечером

...Да будут прокляты слова, дела и люди. Да будут прокляты.

Если гаснет свет — я ничего не вижу
Если человек зверь — я его ненавижу
Если человек хуже зверя — я его убиваю
Если кончена моя Россия — я умираю...

12 февр.

...Ленин непреклонен в требовании,— по его собственному выражению,— «позорного» мира. «Условий его мы все равно выполнять не будем»,— утешает он далее (а немцы что же, дураки? Позволят?) и нисколько не боится неистовой внутренней ругани, которая у них поднялась. Объявил, что если не будет позорного мира, то он, Ленин, «уйдет в массы» (кажется, подразумевается Преображенский полк) и с этими массами явится свергать несогласных большевиков...

13 февр.

...Наша делегация (оказался-таки 1 русский плюс 8 штук жидов) уже в Бресте. Ей велено принять всякий мир...

15 февр., четв.

...Дима(Философов.— *С. С.*) принес мне текст какого-то «доклада совету московского совещания общественных деятелей». Это совсем не пахнет «блоками», но это, очевидно, один из многих «проектов российского устройства», зарождающихся теперь в бессильных, раздельных, интеллигентско-общественных кругах и кружках. Данный имеет, кажется, отношение к московскому кружку «Русских ведомостей». Я подумывала даже, не выписать ли его как образчик современной беспомощности и политического бессилия интеллигентской буржуазии,— но не стоит. Главные положения: утверждение «неподготовленности России к самоуправлению (социалистическое крыло интеллигенции раздуло классовую вражду и т. д.)». Поэтому «надо отбросить даже идею Учр. Собрания». Далее выдвигается «военная диктатура»...

...Очень беспомощно сказано, что военная диктатура «опирается на государственно мыслящую часть народа». Ясно, что эта «часть народа», если она существует, материальных сил в своем распоряжении не имеет; следовательно, и «военная диктатура», на нее «опирающаяся»,— прежде всего нечто «нематериальное» и даже без пути к материализации. Стоит ли поэтому выписывать здесь и обсуждать все мечтательные схемы «устроения Российского», кото-

рыми занимается «проект»? Совершенно неважно, что эти несколько человек стоят за «монархию», другие будут за республику, и столь же все неважно. Но если они и тут, в области мечтаний, не могут помыслить сговора,— какой возможен «блок» для конкретных, близких, действий?

Да, волей-неволей начинаешь думать, что единая наша надежда — чужой штык...

6 марта, вторник

...На днях всем Романовым было повелено явиться к Урицкому — регистрироваться. Явились. Ах, если б это видеть! Урицкий — крошечный, курчавенький жидочек, самый типичный нагляк. И вот перед ним — хвост из Романовых, высоченных дылд, покорно тянущих свои паспорта. Картина, достойная кисти Репина!..

17 марта, суббота

...Вчера на минуту кольнуло известие о звероподобном разгроме Михайловского и Тригорского (исторических имений Пушкина). Но ведь уничтожили и усадьбу Тургенева. Осквернили могилу Толстого. А в Киеве убили 1200 офицеров, у трупов отрубали ноги, унося сапоги. В Ростове убивали детей кадетов (думая, что это и есть «ка-деты», объявленные «вне закона»)...

...Он (А. М. Горький.— *С. С.*) — Суворин при Ленине... пока. Пойдет и дальше...

21 мая, понед.

...Умер Плеханов. Его съела родина. Глядя на его судьбу, хочется повторять соблазнительные Слова Пушкина:

Нет правды на земле...
Но нет ее и выше.

Он умирал в Финляндии. Звал друзей, чтобы проститься, но их большевики не пропустили. После Октября, когда «революционные» банды 15 раз (sic!) вламывались к нему, обыскивали, стаскивали с постели, издеваясь и глумясь,— после этого ужаса, внешнего и внутреннего,— он уже не поднимал голо-

вы с подушки. У него тогда же пошла кровь горлом, его увезли в больницу, потом в Финляндию.

Его убила Россия, его убили те, кому он, в меру силы, служил сорок лет. Нельзя русскому революционеру: 1) быть честным, 2) культурным, 3) держаться науки и любить ее. Нельзя ему быть европейцем. Задушат. Еще при царе туда-сюда, но при Ленине — конец.

Я помню его года за два до войны, в San Remo и в Ментоне. В S. Remo мы провели с ним однажды целый день...

Плеханов был тогда бодр. И его лицо казалось слишком здоровым. Но оно было удивительно благородно. Старик? Нет, наши русские «старики» — не такие. Скорее, «пожилой француз». И во всем сказывался его европеизм. Мягкие манеры, изысканная терпимость, никакой крикливости. Среди русских эмигрантов он был точно не в своем кругу. Тогда шли разговоры о «единой соц. партии». С нами, из Ментоны, приехал к Б. и Илья. И все почти были с-ры. Благодаря нашему присутствию, разговоры велись, конечно, не специальные. Но все же, по-русски, сходили на приподнятый спор. И нужно сказать, не только эмигранты,— и мы частенько оказывались дикими русопятами перед культурной выдержкой Плеханова.

А потом в Ментоне, у Ильи, мы как-то неистово спорили с Борисом (помню, из-за статьи Ив. Разумника о Р. Ф. общ. и Карташеве). Присутствовавший Плеханов был шокирован. А между тем спор был самый обыкновеннейший — для России. Но Плеханов — европеец!

Надо сказать, однако, что в нем была и большая узость. При серьезном научном богаже, при всей изысканной внешней терпимости и всем европеизме — эта истинно русская партийная, почти мелочная узость казалась даже странной. Она, вероятно, и давала ему налет... педантизма. Но его «скучность» (как говорили в последнее время) не от узости, нет! Это наука, это Европа, это культура — скучны нашему оголтелому матросью, нашей «веселой» горилле на цепочке у мошенников...

...По деревням посланы вооруженные кучки — отнимать хлеб. Все разрушили, обещают продолжать, если найдется недорушенное. Грабят так, что

даже сами смеются. А журналиста Пильского засадили за документальное доказательство: из числа правящих большевиков — 14 клинически-помешанных, уже сидевших в психиатрических лечебницах...

2 июня, суббота

...Третьего дня пришли Ив. Ив. (Манухин.— *С. С.*) с Т. И. (Т. И. Манухина — жена И. И. Манухина.— *С. С.*) — были днем у Горького. Рассказывают: его квартира — совершенный музей, так переполнена старинными вещами, скупленными у тех, кто падает от голода. Теперь здесь продают последнее, дедовское, заветное, за кусок хлеба. Горький и пользуется вместе с матросьем и солдатами, у которых деньжищ — куры не клюют. Целые лавки есть такие, комиссионные, где новые богачи, неграмотные, швыряются кучами керенок «для шику». Выходит как-то «грабь награбленное» в квадрате; хотя я все-таки не знаю, почему саксонская чашка старой вдовы убитого полковника — «награбленное» и ее пенсия, начисто отобранная,— тоже «награбленное».

Горький любуется скупленным, перетирает фарфор, эмаль и... думает, что это «страшно культурно!»

Страшно — да. А культурно ли — пусть разъяснят ему когда-нибудь ЛЮДИ.

Неистовый Ив. Ив. конечно полез на стены. Но Горький нынче с ним по-свойски, прямо отрезал: «Не додушила вас еще революция! Вот погодите, будет другая, тогда мы всех резать будем!»...

5 июля, 1918 г.

...Красная Дача.

Было: очень глупое «восстание» лев. эс-ров против собственных большевиков. Там и здесь (здесь из Пажеского корпуса) постреляли, пошумели, «Маруся» спятила с ума,— их угомонили, тоже постреляв, потом простили, хотя ранее они дошли до такого «дерзновения», что... убили самого Мирбаха! Вот испугались-то большевики! И напрасно. Германия им это простила. Не могла не простить, назвалась груздем, так из кузова нечего лезть...

6 июля, пятница. ...С хамскими выкриками и похабствами, замазывая собственную тревогу, объяви-

ли, что РАССТРЕЛЯЛИ НИКОЛАЯ РОМАНОВА. Будто бы его хотели выкрасть, будто бы уральский «совдеп» с каким-то «тов. Пятаковым» во главе его и убил 3-го числа. Тут же, стараясь ликовать и бодриться, всю собственность Романовых объявили своей, «жена и сын его в надежном месте»... воображаю!

Эта глупость — зарыв, и никакой пользы для себя они отсюда не извлекут. Не говорю, что это может приблизить их ликвидацию. Но после ранней или поздней ликвидации — факт зачтется в смысле усиления зверств реакции.

Щупленького офицерика не жаль, конечно (где тут еще, кого тут еще жаль!). Он давно был с мертвечинкой, но отвратительное уродство всего этого — непереносимо.

Нет, никогда мир не видал революции лакеев и жуликов. Пусть посмотрит...

1 сентября 1918 г., суббота

...Мы только теперь вступили в полосу настоящего ТЕРРОРА.

После убийства Володарского, затем, в другом плане, убийства Мирбаха и Эйхгорна (из одного страха, как бы не пришлось поссориться с большевиками, немцы увезли свое посольство) — произошло, наконец, убийство Урицкого (студ. Конгиссер) и одновременно ранение — в шею и в грудь — Ленина. Урицкий умер на месте, Ленин выжил и сейчас поправляется.

Большевики на это ответили тем, что арестовали 10 000 человек. Наполнили 38 тюрем и Шлиссельбург (в Петропавловке и в Кронштадте — верхом). Арестовали под рядовку, не разбирая. С первого разу расстреляли 512, с официальным объявлением и списком имен.

Затем расстреляли еще 500 без объявления. Не претендуют брать и расстреливать виноватых, нет, они так и говорят, что берут «заложников», с тем, чтобы, убивая их косяками, устрашать количеством убиваемых. Объявили уже имена очередных пятисот, кого убьют вскоре...

Нет ни одной, буквально, семьи, где бы не было схваченных, увезенных, совсем пропавших

(Кр. Крест наш давно разогнан, к арестованным никто не допускается, но и пищи им не дается). Арестована О. Л. Керенская, ее мать и два сына, дети 8 и 13 л. ...

...К тому же они ввели слепую, искажающую дух языка, орфографию. (Она, между прочим, дает произношению — еврейский акцент!)...

...Никаких выводов из вышеприведенных скудных фактов я не делаю. Констатирую лишь одно: большевики физически сидят на физическом насилии и сидят крепко. Этим держалось самодержавие, но, не имея за собой традиций и привычки, большевики, чтобы достигнуть крепости самодержавия, должны увеличивать насилие до гомерических размеров. Так они и действуют. Это в соответствии с национальными «особенностями» русского народа, непонятными для европейца. Чем власть диче, чем она больше себе позволяет — тем ей больше позволяют.

Да, и все это — вне истории. Это даже не революция в Персии. Это Большой Кулак в Китае, если не поничтожнее (при всей своей безмерности)...

1 (14) окт., понед.

...Горький — на дне хамства и почти негодяйства, упоен властью, однако взял в «заложники» из тюрьмы на свою квартиру какого-то Романова. Взял под предлогом отправить его в Финляндию, но не отправляет, держит больного в своей антикварной комнате и только ежедневно над ним издевается. Какое постыдное!

Аресты, террор... кого еще, кто остался? В крепости, в Трубецком бастионе, набиты оба этажа. А нижний, подвальный (запомните!) — камеры его заперты наглухо, замурованы: туда давно нет ходу, там неизвестно кто — обречены на голодную смерть. Случайно из коридора крикнули: сколько вас там? И лишь стоном ответило: много, много...

...Это было давно...

...Расстрелян Меньшиков за Бологим. Вот тебе и «подколодный Ягненок».

14 окт.

...В Гороховой «чрезвычалке» орудуют женщины (Стасова, Яковлева), а потому царствует особенная,—

упрямая и тупая,— жестокость. Даже Луначарский с ней борется, и тщетно: только плачет (буквально, слезами)...

22 окт.

...Декреты, налоги, запрещения — как из рога изобилия. Берут по декретам, берут при обысках, берут просто. «Берет» даже Андреева, жена Горького: согласилась содействовать отправлению в. кн. Гавриила в Финляндию лишь тогда, когда жена Г-а подарила ей дорогие серьги.

Ив. Ив. бывает у Горького только ради заключенных. И все неудачно. Ибо Горький, вступив в теснейшую связь с Лениным и Зиновьевым,— «остервенел», по выражению Ив. Ив-ча. Разговаривает с тем же Ив. Ив-чем, уже так: «Что вам угодно?» И: «Прошу меня больше не беспокоить».

Характерно еще: при отправке своего «заложника» в Финляндию (после серег), Горький на всякий случай, потребовал от него «охранную грамоту»: что вот, мол, я Гавриил Романов, обязан только Горькому спасением жизни...

Нужны ли комментарии?

Сегодня, входя к Горькому, Ив. Ив. в дверях встретил Шаляпина. Долгий разговор, Шаляпин грубо ругал большевиков, обнимая Ив. Ив-ча и тут же цинично объявляя, что ему — все все равно, лишь бы жратва была... «Получаю 7 тысяч в месяц и все прожираю». Милая черточка для биографии этой русской дубины. Незабвенная отвратительность.

Чудовищный слух, которому отказываешься верить: будто расстреляли В. В. Розанова, этого нашего малоизвестного Европе, но талантливейшего писателя, русского Ницше...

...Обеими руками держу себя, чтобы не стать юдофобкой. Столько евреев, что диктаторы, конечно, они. Это очень соблазнительно.

Еще слух, что расстреляли и эту безумицу несчастную — Алекс. Федоровну с ее мальчиком. Да и дочерей. Держат это, однако, в тайне...

13 ноября, вторник.

...Горький все, кажется, старинные вещи скупил, потянуло на клубничку, коллекционирует теперь

эротические альбомы. Но и в них прошибается: мне говорил один сторонний человек с наивной досадой: за альбом, который много-много 200 р. стоит,— Горький заплатил тысячу!..

8 декабря.

...И, наконец, вот главное открытие, которое я сделала: ДАВНЫМ-ДАВНО КОНЧИЛАСЬ ВСЯКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Когда именно — не знаю. Но давно. Наше «сегодня» — это не только ни в какой мере не революция, это самое обыкновенное кладбище. Лишь не благообразное, а такое, где мертвецы полузарыты и гниют на виду и в тишайшем безмолвии. Уж не банка с пауками — могила, могила!

На улице гробовое молчание. Не стреляют (не в кого), не сдирают шуб (все содраны)...

...Но спешно отправлены в Вологду, в «каторжные работы» арестованные интеллигенты (81 чел.), такие «преступники», как Изгоев, журналист из «Речи», например. Очень спешили, не дали привезти им даже теплой одежды. Жену Изгоева при проводах красноармеец хватил прикладом, упала под вагон; вчера служила в столовой журналистов, вся обвязанная...

15 дек.

...На Садовой вывеска: «Собачье мясо, 2 р. 50 к. фунт». Перед вывеской длинный хвост. Мышь стоит 25 р. ...

29 дек.

...Сегодня видела Вырубову. Русская «красна-девица», волоокая и пышнотелая (чтобы Гришка ее не щипал — да никогда не поверю!) женщина до последнего волоска, очевидно тупо-упрямо хитренькая. Типичная русская психопатка у «старца». Охотно рассказывает, как в тюрьме по 6 человек солдат ее приходили насиловать, «как только Бог спас!»...

1919 г. 5 янв., суб.

...В октябрьские торжества висели полотнища с хамской рожей и с хамскими словами внизу, хамски и жидовски начертанными:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем!

Это его,— нежного Блока,— слова!!...

12 янв., суббота

...А вот жаль, что я не могу дать Вильсону самый практический совет, самый ему сейчас нужный, ему — и всей Европе: не ставьте никаких условий большевикам! Никаких,— потому что они все примут, а вы поверите, что они их исполнят.

Есть только одно единственное «условие», которое им можно поставить, да и оно, если условие — бесполезно, а благодатно — как повеление. Это — «убирайтесь к черту»...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Степенного читателя, возможно, шокируют и даже возмутят неуважительные аттестации, выданные некоторым героям нашего времени. Но на свидетельства очевидцев, даже если они высказаны чересчур прямолинейно, обижаться нет смысла. Будем уповать на то, что нынешние и будущие историки дополнят, а может быть, и скорректируют отдельные, содержащиеся в приведенных текстах факты, утверждения, гипотезы.

А теперь немного о самих авторах.

Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус

«...„Мережковский" звучит хорошо. Это не то, что какой-то „Розанов", или „Курочкин", или даже „Подлигайлов" (допустил же Бог быть такой фамилии)... „литературная судьба" Мережковского красива; она не осмысленна, но эстетична. Стихи, романы, критика, религиозные волнения — все образует „красивый круг", в который с удовольствием всякий входит. Взять „том Мережковского" в руки — приятно. Всем приятно высказать: „А я стала читать Мережковского", или: „Я давно занимаюсь Мережковским". Что-то солидное. Что-то несомненно литературное».[1] Так писал хитрый нараспашку В. В. Розанов 31 марта 1911 г. в газете «Новое время».

Гораздо откровенней высказалось книгоиздательство Вольфа перед изданием собрания сочинений Мережковского в 1911 г. Оно выпустило критику —

[1] Розанов В. В. И шутя и серьезно//Новое время. 1911. 31 марта.

отзыв о нем, в сущности нисколько не впав в ошибку или преувеличение, так как вполне адекватно отразило то мнение, которое господствовало в общественных кругах:

«— Мережковский?

— Что такое?

— Красиво.

— Да что „красиво“-то?

— Красиво звучит. Красивое положение. Стихи, критика, романы; Бог. Все красиво, вообще красиво. Около Мережковского красивый воздух. Над Мережковским красивое небо.

— Но он сам, сам?..

— Ах, убирайтесь вы к черту. Надо уродиться „Разумником“, чтобы до всего доспрашиваться, до всего доискиваться... Сказано: красиво,— и нюхайте.

— Но плод?» [2]

В истории общественной мысли понят Мережковский пока не очень хорошо. Кто он: писатель? поэт? религиозный философ? политик? Как его назвать? Вечно с Евангелием в руках и с Христом на устах. Он всегда делал как будто не свое дело, однако писал всегда — талантливо. И это уже очень много. Ведь даже материал, употребляемый живописцем или скульптором, очень беден по сравнению со словом. У слова есть не только краски, живые и теплые, не только пластичные формы, не менее изысканные, чем они открываются в бронзе и мраморе, у слова есть музыка, мысль, одухотворенность. А кроме того, у самого Мережковского было «настоящее „сердце“... доброе, хорошее, бестолковое, но в высшей степени благородное сердце... по „работе в жизни“ — он в высшей степени утилитарный человек, старающийся быть всем нужным, для всех полезным, сработать какую-нибудь „работу“ в истории России» [3].

«Полюби не меня, а мое»,— эта мольба выражала искреннюю потребность Мережковского, стремившегося не к внешнему литературному успеху, но к живой связи с народом, с обществом. Но этой связи было

---

[2] Цит. по: РО ГПБ. Ф. 322. Ед. хр. 14. Л. 87.

[3] Там же.

мало. Да и не могло быть иначе. «Если бы молодость знала, если бы старость могла».

Начало века — нетерпеливое, жадное — время «первоначального накопления» зла. Не случайно была подобрана и подходящая теория об отмирании семьи, частной собственности и государства. А что же за этим?

Самое первое, но и самое полное представление о характере и степени общественной значимости нравственных поисков Мережковского можно было получить уже в 1899 г., прочитав его «Портреты из всемирной литературы»: «Дайте человечеству роскошь знаний, утонченной культуры, дайте ему полное равенство материальных благ, справедливое удовлетворение потребностей; но если при этом вы откажете ему в божественной любви, в том „братском поцелуе“, который один только утешает несчастных, то все дары будут тщетными, и люди останутся нищими и одинокими» [4]. Этот сомнительный (для современников) «братский поцелуй» — рамка, в которую можно заключить смысл всей дальнейшей творческой деятельности Мережковского. Ему претила тяга к социально-утопическим проектам и идеям. По его убеждению, человеческие беды лечатся только Богом, оттого что они не врачуются жизнью с ее меняющимися установками и идеалами. В ответ раздавалась грубая брань по его адресу со стороны «правых» и «левых». «Дурачки четверорукие карабкаются на кафедры, чтобы поучать нас» [5],— мог написать, например анонимный фельетонист в «Новом времени». Грубость этих слов — далеко не единственный пример тона, в котором говорили об идейном новаторстве Мережковского столичные газеты.

В «Открытом письме к Н. А. Бердяеву» Мережковский с горечью отмечал: «В России меня не любили и бранили; за границей меня любили и хвалили; но и здесь и там одинаково не понимали моего» [6].

Родился Мережковский в семье действительного

---

[4] Мережковский Д. С. Вечные спутники: Портреты из всемирной литературы. СПб., 1899. С. 402.

[5] Цит. по: Перцов П. П. Литературные воспоминания. М.; Л., 1933. С. 86.

[6] Мережковский Д. С. Грядущий хам. С. 91 настоящего издания.



Д. С. Мережковский

тайного советника, придворного служащего 2-го августа 1865 г. (1-го августа отмечалось «Крещение Руси») в Петербурге, на Елагином острове, в Елагином дворце. Дед служил в Измайловском полку, в жилах бабки текла княжеская кровь Курбских.

Собственно, биография Мережковского известна, поэтому нет необходимости подробно освещать ранний период его жизни — юность в безбедности, духовные поиски, неопределенность, кратковременная угроза ареста вследствие школьного вольномыслия. Отметим только, что юность его была украшена и встречей с Достоевским, в квартиру которого его привез однажды отец, чтобы показать знаменитому писателю первые стихи сына. Но эта встреча закон-

чилась лишь пожеланием «страдать надо, страдать, молодой человек...», а не предсказаниями будущего «поэтического величия» Мережковского.

В одно из воскресений лета 1888 г. в Боржоми на балу кто-то из его знакомых представил ему девятнадцатилетнюю Зинаиду Гиппиус. Накануне этой встречи, в одном из журналов З. Гиппиус прочитала его стихи, и они ей не понравились. Поэтому встретила его она «довольно сухо». Мережковский же чуть ранее при первом взгляде на ее портрет будто бы воскликнул: «Какая рожа!» Встречаться, однако, они стали ежедневно и 8 января 1889 г. обвенчались в Тифлисе. «Я была не то в спокойствии, не то в отуплении,— вспоминала Гиппиус.— Мне казалось, что это не очень серьезно» [7]. Вечером этого торжественного для обоих дня Мережковский уходит в свою гостиницу, а она ложится спать у себя дома, забыв, что уже замужем. И только на следующее утро вспомнила о перемене в своей биографии, когда мать разбудила ее: «Ты еще спишь, а уж муж пришел! Вставай!» Но оба всю жизнь были убеждены, что их венчание на брак стало спасительным для обоих. Он их спас «от н бытия метафизического».

Через несколько дней после венчания они переезжают в северную столицу, где поселяются сначала в небольшой квартире на улице Верейской, потом — в «доме Марузи» на углу Литейной улицы (д. 24) и Пантелеймоновской и, наконец, в 1914 г.— против Таврического сада на Сергиевской, д. 83.

Совместная жизнь их длилась более полувека.

Когда весной 1892 г. у З. Гиппиус наступило обострение чахотки, Д. Мережковский, раздобыв денег у своего отца, увозит ее в Ниццу. Там на даче у профессора Максима Ковалевского они встречают молодого человека, студента Петербургского университета Дмитрия Владимировича Философова, но только через несколько лет, когда возникает журнал «Мир искусства» в Петербурге и образуются Религиозно-философские собрания (1901 г.), начинается их сближение — дружба, которая продолжалась вплоть до смерти «Димы» в августе 1940 г.

---

[7] Цит. по: Злобин В. Тяжелая душа. Вашингтон, 1970. С. 18.

Многое из того, о чем писала З. Н. Гиппиус (1869—1945 гг.), неизвестно современному читателю, ибо стихи ее, статьи и рассказы «разбросаны» в недоступных теперь журналах и газетах начала XX в. Многое неизвестно современному читателю и о ней самой. «Меня знают как человека те, кого я знаю как людей. В литературе же мы должны говорить о „своем", а не о себе» [8],— считала она.

Родилась Зинаида Николаевна Гиппиус 8 ноября 1869 г. по старому стилю в городе Белеве Тульской губернии. Отец ее происходил из дворянской семьи фон Гиппиус — немцев, переселившихся из Мекленбурга в Москву еще в 1515 г. Был он обер-прокурором Сената, вследствие болезни (чахотка) принужден был покинуть Петербург и служил председателем Нежинского суда. Мать — прелестная русская женщина, сибирячка Анастасия Степановна.

Своих родителей она страстно любила и почитала до обожания. Привязанность к отчему дому была настолько сильной, что, когда ее отдали учиться в Киевский институт, она не могла перенести разлуки, тяжело болела и почти все долгие годы учебы провела в институтской больнице. Смерть отца наступила в год, когда ей исполнилось одиннадцать лет. «Я с детства ранена смертью и любовью»,— признавалась она впоследствии. Трагедия эта сделала свое дело: превратила девочку Зину в «маленького человека с большим горем». После родителей она больше всего любила свою «нянечку Дашу» — Дарью Павловну Соколову, которая водила девочку гулять, носила ее перед сном на руках и называла «Батюшка белый».

Первая исповедь девочки и причастие происходили в бедной, похожей на деревенскую, церкви: но «искупления я еще не понимаю», как, «очевидно, не понимаю и покаяния» [9],— свидетельствовала З. Гиппиус.

---

[8] Книга о русских поэтах последнего десятилетия: Критические очерки/Под ред. М. Гофмана. СПб.; М., 1909. С. 173.

[9] Цит. по: Злобин В. Тяжелая душа. С. 12.

Стихи начала писать в детстве, когда ей исполнилось семь лет. Вот ее первое стихотворение:

Давно печали я не знаю
И слез давно уже не лью.
Я никому не помогаю,
Да никого и не люблю.
Людей любить — сам будешь в горе.
Всем не поможешь все равно.
Мир что большое сине-море,
И я забыл о нем давно. [10]

Стихотворение, написанное З. Гиппиус в конце ее жизни (также от своего лица и в мужском роде), звучит так:

Я на единой мысли сужен,
Смотрю в сверкающую тьму,
И мне давно никто не нужен,
Как я не нужен никому. [11]

Лермонтов — ее любимый поэт. Его стихотворения она знала еще в детстве и многие из них помнила наизусть всю жизнь, хотя свои собственные — никогда. Многое, что она знала и чувствовала в семьдесят пять лет, она уже знала и чувствовала в семь и умела это выразить. Всю жизнь, от начала и до конца своих дней, она прожила суверенно, в своем собственном доме, никого не допуская в чистые комнаты сердца. В одной из пародий З. Н. Гиппиус написала о себе:

Решала я — вопрос огромен,—
Я шла логическим путем,
Решала: нумен и феномен
В соотношении каком? [12]

Первое литературное выступление — стихотворение за подписью З. Г. в «Северном вестнике» за 1888 г. (ноябрь).

Долгие годы она страдала чахоткой, развивавшейся очень медленно. Она знала это и жила в постоянном ожидании смерти. Властвовать собой нау-

[10] Там же. С. 13.
[11] Там же. С. 14.
[12] Там же. С. 15.



З. Н. Гиппиус

чилась еще в детстве, но страсти сотрясали ее всю жизнь.

В ее жизни были любовные увлечения (А. Л. Волынским, по свидетельству Вяч. Иванова)[13], но эти увлечения не доходили до «падения». И в этом была для нее драма, ибо она была женщиной нежной и страстной, матерью по призванию.

Всю жизнь она вела интимный дневник, литературный документ исключительного исторического значения. С Д. С. Мережковским ее союз был чисто

---

[13] РО ГПБ. Ф. 322. Ед. хр. 4. Л. 250.

духовным, как и с Д. В. Философовым. Все трое жили как аскеты, неся легкое иго целомудрия.

«Каков человек, такова и его философия»,— говаривал немецкий философ Фихте. П. Перцов, известный литературный деятель начала XX в., так описывал Зинаиду Николаевну, вспоминая ее по литературным вечерам в Петербурге: «Высокая, стройная блондинка с длинными золотистыми волосами и изумрудными глазами русалки, в очень шедшем к ней голубом платье...» [14] Сохранившиеся фотографии действительно свидетельствуют о том, что одевалась она великолепно — полна вкуса, какой-то интимной непринужденности, что заставляет вспомнить изречение Григория Богослова о том, что платье человека является «безмолвным проповедником» его нравственной и духовной сущности.

Удивительно, но вокруг имени человека неординарного, тем более творчески независимого, всегда создавались черные легенды в России, ничего общего с его подлинной сущностью и духовным обликом не имеющие. За примерами ходить недалеко: боттичеллиевская красота, независимое поведение и весь облик талантливой поэтессы постоянно раздражали ее незадачливых завистников из числа «литературных босяков» как правого, так и левого толка. Наиболее ретивые из них не брезговали засылкой даже хулиганских писем на квартиру Мережковских с глумливыми текстами типа: «Отомстила тебе Афродита, послав жену — гермафродита» [15].

В определенных кругах было принято утверждать, что она человек вечно рассеянный, невнимательный к людям, заносчива, вечно все путает и в делах быта мало что смыслит, словом — типичная декадентка и интеллигентка, типа петербургского профессора А. А. Мейера, «долго не понимавшего, отчего у него болят ноги. А болели они оттого, что он носил два левых сапога» [16].

И она действительно часто эпатировала «серьезную» публику и любила помистифицировать (черта,

---

[14] Перцов П. П. Литературные воспоминания. М.; Л., 1933. С. 87.

[15] РО ГПБ. Ф. 322. Ед. хр. 10. Л. 264.

[16] Злобин В. Тяжелая душа. С. 29.

мало кому в ней известная). Одной из частых жертв З. Гиппиус был сам Д. С. Мережковский, отмечает в своих воспоминаниях В. Злобин, литературный секретарь супругов Мережковских: «Однажды, Зинаида Николаевна „подарила“ Мережковскому два своих стихотворения, очень ему понравившихся. Предпослав одному из них длиннейший эпиграф из Апокалипсиса, он их включил в собрание своих стихов. Но, „забыв“ о подарке, напечатала эти стихотворения в своей книге и Зинаида Николаевна. Любопытно, что никто до сих пор этой „шутки“ не заметил. А что это стихи Гиппиус — видно сразу. Среди стихов Мережковского они — как живые розы среди бумажных» [17]. «Странное это было существо,— продолжает В. Злобин,— словно с другой планеты. Порой она казалась нереальной... Одевалась она сложно: какие-то шали, меха... в которых она безнадежно путалась... Была скромна даже чересчур... Цель ее мистификаций — отвлечь от себя внимание. Под разными личинами она скрывает, прячет свое настоящее лицо, чтобы никто не догадался, не узнал, кто она, чего она хочет» [18].

* *
*

З. Н. Гиппиус не утруждала себя жанровым самоопределением в искусстве, литературе или в философии, но считалась гораздо талантливее Д. Мережковского. Читатель должен знать, и это достоверно, что литературный, поэтический талант З. Гиппиус великолепен, но ее философские взгляды, ее религиозно-философское творчество уникально. Основные метафизические, религиозные, да и социально-политические идеи Мережковского зарождались в уме Зинаиды Николаевны. Мережковскому принадлежит только их развитие и разъяснение. Как это ни странно, но в их браке и в творческой деятельности руководящая (мужская) роль всегда принадлежала ей. У нее — идеи, Мережковский же обладал необычайной восприимчивостью, способностью органично их впитывать, ассимилировать и, что еще более замечатель-

[17] Там же. С. 31.
[18] Там же. С. 32—33.

но,— великолепной литературной производительностью. Конечно, сказать, что каждое его слово — это ее мысль, будет несправедливо, но в их «духовном браке» она давала первый толчок зарождению мысли, именно ей принадлежала идея. Не раз она признавалась, что самые ответственные ее статьи появляются в печати за подписью мужа, как это случилось, например, со знаменитыми «Декаденты и общественность» в «Весах» в 1906 г. или «Все против всех» в «Золотом Руне»[19]. Справедливости ради следует все-таки сказать, что идейно и литературно Мережковские были настолько тесно связаны, что неправильно было бы говорить об одном, забывая и не отдавая должного другому.

Свои произведения Гиппиус подписывала часто мужскими псевдонимами, например «Антон Крайний», «Лев Пущин» и т. п.— «не могу даже вспомнить всех моих псевдонимов»,— указывала она в своих воспоминаниях «Живые лица»[20]. В стихах и рассказах от своего лица говорила всегда в мужском роде. Разгадка этому двойная и ее следует искать не столько в литературно-издательских соображениях, сколько в традиционной неприязни общеобразовательной российской черни к мыслителю-женщине, женщине-поэту, тем более с такой подозрительной фамилией («в имени ее звук чуждый невзлюбя»). Неприязнь к «некоренным» фамилиям, этот этнографический синдром описан и осужден еще А. С. Пушкиным. В словах, обращенных к Барклаю де Толли, он писал:

О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчаньи шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал...[21]

[19] См.: РО ГПБ. Ф. 322. Ед. хр. 10. Л. 265.
[20] Гиппиус З. Н. Живые лица. Прага, 1925. С. 83.
[21] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1954. Т. 2. С. 188.

Этот же феномен получил свое «академическое» разъяснение в размышлениях русского философа (и князя) Н. С. Трубецкого, который считал, что всякая дифференцированная культура неизбежно заключает в себе две обязательные части, которые образно он называет «верхом» и «низом» здания данной культуры... «...Ценности „верхнего запаса“ создаются либо самими господствующими частями национального целого, либо для этих частей и отвечают всегда более утонченным потребностям, более требовательным вкусам. Вследствие этого они всегда сравнительно сложнее и менее элементарны, чем ценности нижнего запаса» [22].

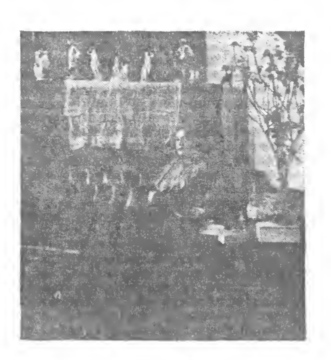
Напряжение вокруг имени Гиппиус никогда не спадало.

Мистического опыта, пророческого дара, как считали друзья, у нее также было несравненно больше, чем у ее мужа. До конца ее жизни о ней, как и о Мережковском, писали в том роде, что она высоконравна, холодна, неспособна к дружеским отношениям, но ведь так говорили о всех, чьи мысль и душа жили в собственном доме, а не в «литературном автобусе» или политическом кабаке.

К 1901 г. Мережковский и Гиппиус уже имели более или менее ясное представление о том, какими средствами «создавать» новое религиозное сознание в обществе. Но, критикуя официальную государственную церковь, они не хотели оказаться и вне Православия. У Гиппиус тогда возникла идея о создании интимного творческого союза, союза единомышленников, цельного по мысли и действию. Выбор ее пал на Д. В. Философова, который разделял многие мысли Зинаиды Николаевны о «новом религиозном действии» для созидания «нового религиозного сознания», призванного спасти общественную мысль и русскую духовность от оскудения и деградации. «Для начала нашего Главного,— писала Гиппиус Философову,— должно быть трое, которые впоследствии станут тремя в одном. Должно быть переживание настоящей и символической тайны „одного“,

---

[22] Трубецкой Н. С. Верхи и низы русской культуры: (Этническая основа русской культуры)//К проблеме русского самопознания: Собр. статей. Париж, 1927. С. 21.



З. Н. Гиппиус в своей квартире

„двух“ и „трех“ в одном кружке. Будем надеяться, что по крайней мере один из нас сможет вступить в это Начало, в это новое „три“...»[23] Таким образом был создан «тайный» и тесный союз Гиппиус, Мережковского и Философова, который продолжал свою деятельность на квартире Мережковских в Петербурге. Основой этого своеобразного ордена были два принципа: 1. Внешнее разделение с государственной церковью. 2. Внутренний союз с Православием.

Все трое воспринимали свою деятельность в этом направлении как нравственный долг перед Россией, современниками и последующими поколениями.

---

[23] Цит. по: Мережковский Д. Маленькая Тереза. Эрмитаж, 1984. С. 63.

Образы догматического православия имеют для них почти исключительно символическое значение. Они придают большое значение религиозной вере, но религия уже понимается ими в идеале, такой, какая еще не осуществлена. Их религия в значительной степени сводится к религиозному идеализму и входит в их мечту о совершенном бытии, о золотом веке для духа, богочеловека и богочеловечества [24]. Они выступили как против старой, омертвевшей церкви, старого остановившегося религиозного сознания и освященной им государственности, так и против анархического иррационализма, хаотической мистики и основанного на них общественного нигилизма.

То обстоятельство, что они оставались в русле христианской традиции, спасло их от перенасыщения своих произведений философско-схоластической проблематикой, многозначимости, усложненности терминов, которые требовали бы специальной трактовки или скрупулезной интерпретации, комментария и расшифровки, перевода на общепонятный язык.

Поначалу они не собирались писать никаких программ. Они не знали, их ли это дело что-то определять. «У каждого из нас,— писала Гиппиус,— есть какая-нибудь своя работишка, ремесло, способ для прокормления, что-нибудь да он знает, любит, умеет. Пусть идет с тем, что у него есть, на все может упасть живая капля, все нужно. А у кого совсем ничего нет, никакой черствой корки для питания тела — тому пусть даст ближайший к нему, самый ближний, поскорее отломит от своей и даст, не благо творя, а просто дело творя, чтобы было и ему с чем подойти к Отцу — и всем вместе легче идти. Может быть,

---

[24] О такой религии Герцен писал своему сыну в 1855 г. в следующих выражениях: «Религия грядущего общественного пересоздания — одна религия, которую я завещаю тебе. Она без рая, без вознаграждений, кроме собственного сознания, кроме совести... Иди в свое время проповедовать ее к нам, *домой*: там любили когда-то мой язык и, может, вспомнят меня.

Я благословляю тебя на этот путь во имя человеческого разума, личной свободы и братской любви!» (см.: Герцен А. И. С того берега//Избр. филос. произвед. М., 1946. Т. II. С. 6).

единодействие единомышленников должно начинаться — с малого, с тех копеек, из которых растут рубли и сотни. Да и как им не вырасти? Я верю, что мои единомышленники — все; только не все это знают. А те, которые знают... знают больше меня, видят дальше меня — пусть говорят. Я им верю. Я их слушаю» [25]. Эти слова и ожидания З. Гиппиус — дружеское ауканье с мыслью и надеждами Мережковского, который писал позднее: «Как бы ни были скромны делающие религиозное дело, не взялись бы они за него вовсе, если бы могли рассчитывать только на современников. Для себя сажаем капусту, а дерево — для внуков» [26].

У З. Гиппиус есть стихотворение «Апельсинные цветы»:

— О, берегитесь, убегайте
От жизни легкой пустоты
И прах земной не принимайте
За апельсинные цветы — [27]

Может быть, это «дерево» Мережковского — лимонное? Если согласиться на этом, то встает вопрос: «А весь ли сок выжат из его лимонов?» Тем более, что члены этой группы, как и многие другие хорошие люди, искренне веря в прекрасное будущее «богочеловечества», отнюдь не считали грядущий социализм «самым грубым эгоизмом, едва возвышающимся над интересами брюшной полости» [28]. В этой связи интересно сравнить их установку, которая была своеобразным христианским поиском в стремлении к «светлому будущему», с мыслью П. Тольятти о том, что «стремление к социалистическому обществу... может найти стимул в самом религиозном сознании, стол-

---

[25] Антон Крайний (З. Гиппиус). Литературный дневник. СПб., 1908. С. 42.

[26] Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. М., 1914. Т. I. С. VI.

[27] Гиппиус З. Н. Собрание стихотворений. М., 1904. С. 57.

[28] Так считали, если верить священнику Н. Стеллецкому, некоторые православные священнослужители в начале века (см. его статью «Философия желудка» в Трудах Киевской духовной академии (1904. № 11. С. 605)).

кнувшемся с драматическими проблемами современного мира»[29].

* *
*

Каждый писатель — потенциальный бунтовщик, говорил Б. Шоу. Бунтовали и Мережковские. Во время революции Мережковский, Философов и Гиппиус попытались собрать 17 октября 1906 г. в Петербурге общественный митинг-протест с участием духовенства, чтобы «возвысить свой голос» против усилившихся репрессий в стране. На этом митинге предполагалось провозгласить «Воззвание к церкви», составленное в очень резком политическом тоне. Текст этого воззвания начинался с декларации: «Ныне, когда порвана связь царя с народом, когда самодержец, принявший вместе с помазанием от церкви обязанность служить народу, окончательно сию обязанность нарушил, когда не услышан им голос народа, требовавший ближайшего участия в правлении как единственного спасения России от неминуемой гибели, когда все обещания правительства оказываются обманом, так что все, что делается им, тотчас же отнимается; когда власть самодержавная поддерживается лишь диким и грубым военным насилием и попранием всех законов божеских и человеческих, когда предстоит такая кровавая смута, о коей и помыслить страшно, ныне мы, собравшиеся в Петербурге в открытом собрании (и объединенные) священники и миряне, признаем самодержавное правительство отступившим от духа христианства, духа любви и свободы и, следовательно, навсегда лишившимся благословения церкви православной». Далее следовали призывы к духовенству «разрешить войско от присяги царю», объявить Синод «лишенным канонических прав», прекратить в храмах молитвы за царя

---

[29] Тольятти П. Избр. статьи и речи. М., 1965. Т. II. С. 852.— Такое сравнение столь отдаленных по времени мировоззренческих ситуаций может показаться не совсем оправданным, но нам представляется, что изучать историю идей, тем более идей религиозного комплекса, сверяясь только с настенным (или настольным) календарем, было бы тоже чрезмерным педантизмом.

и царствующий дом, а возносить «молитвы за освобождение народа». Реальным требованием был призыв созвать церковный собор, который «явился бы истинным и полномочным представителем церкви перед народом» [30]. Митинг не удался из-за робости духовенства.

В России Мережковскому, Гиппиус и Философову делать после этого было уже нечего, а оставаться просто опасно. Мережковский так оценивал сложившуюся ситуацию: «Писать ничего нельзя, ибо цензура не пропускает ничего мало-мальски резкого... Все будет постепенно гнить и разлагаться. На Государственную думу не может быть никаких надежд... Бунты, убийства будут вспыхивать время от времени, но такое положение продолжится довольно долго, а потому лучше сейчас эмигрировать» [31].

Но они долго не сдавались. В 1906 г. супруги Мережковские, Философов, а также Бердяев и Булгаков пытались создать группу под названием «Меч» (так называлась и статья Мережковского, вошедшая в его сборник «Не мир, но меч») и даже проектировали издание журнала с аналогичным названием. Однако ни одно из этих начинаний не увенчалось успехом, и в конце концов Мережковские и Философов перебрались в Париж, где «выпустили втроем книжку («Царь и революция».— *С. С.*) — род обвинительного акта, направленного лично против царя» [32].

Приведенные выше документы и свидетельства позволяют определить логику поведения Мережковских, суть их поступков и степень полевения. Мережковский писал в «Автобиографической заметке», опубликованной в середине марта 1913 г. во многих газетах Петербурга и Москвы, что он многое передумал, «а главное — пережил в революционные годы 1905—1906» и это имело для внутреннего хода его развития «значение решающее». «Я понял,— заявлял он,— опять-таки не отвлеченно, а жизненно — связь православия со старым порядком в России, понял также, что к новому пониманию христианства

[30] РО ГПБ. Ф. 322. Ед. хр. 10. Л. 104—105.

[31] Цит. по: Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965. С. 309.

[32] Бенуа А. Мои воспоминания. М., 1980. Кн. IV—V. С. 444, 699.

нельзя иначе подойти, как отрицая оба начала вместе»[33].

Началась активная деятельность по созданию «внутренней церкви». В Париже, куда Гиппиус, Мережковский и Философов переехали в 1906 г., они встретили многих своих друзей и знакомых: А. Белого, К. Бальмонта, Н. Минского, А. Бенуа. Особенно в годы эмиграции они сблизились с Г. Плехановым, И. Бунаковым-Фондаминским и Б. Савинковым. Как результат дискуссий и бесед между Гиппиус, Бунаковым и Савинковым (оба были эсерами) появилась книга-роман «Конь бледный», написанный последним под псевдонимом «В. Ропшин». «Я роман Савинкова цензурила и заглавие к нему выдумала,— вспоминала потом Гиппиус в дневниковой записи от 14 марта 1911 г.— Написан он, конечно, от наших совместных разговоров»[34]. Некоторые американские исследователи (в частности, Т. Пахмусс) считают, что в Савинкове и Бунакове Гиппиус видела в это время возможных участников в Главном, т. е. в создании «нового религиозного сознания» и нового религиозного действия, но целиком она еще им не открыла своей заветной мысли о Новой Церкви[35].

Т. Пахмусс, профессор Иллинойского университета, автор многих исследований о творчестве З. Гиппиус и Д. Мережковского и хранительница находящегося у нее архива Мережковских, пишет, что парижский период 1906—1908 гг. включал в себя «трудные и страшные дни» для них. «Мы эти два года были нерадивы так часто по отношению к Главному. Не дали меры наших сил,— признавалась Гиппиус.— Я была хуже всех. Лжива, тупа и слаба. Я знаю! Знаю! И самый ужас мой — ужасен, ибо он страх не вечной гибели, а Божеских несчастий... Господи! Надо ли отказаться? Это сейчас легче. Но как без помощи [без новых соратников] вернуться в Россию!.. Я хочу, чтоб все мы сделали по воле нашей. Отдаться в Его волю»[36]. Однако они продолжали молиться вместе, устраивали свои литургии. Бердяев молился

[33] Цит. по: Русская литература XX века: 1890—1910/Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1910. Кн. III. С. 294.

[34] Цит. по: Мережковский Д. Маленькая Тереза. С. 70.

[35] Там же. С. 70.

[36] Там же. С. 72.

с ними в первый раз в Вербное Воскресенье 1907 г.; до этого он приходил к ним на молитву только по четвергам. Но вскоре и он разочаровал «трио» — своим возвращением в официальную церковь и укорами Мережковских в том, что они боролись против Церкви, предлагая им последовать его примеру [37]. «Как будто мы когда-нибудь „выходили“ из нее» [38],— с недоумением отмечала Гиппиус в своих воспоминаниях.

* * *

Когда 11 июня 1908 г. после трехлетней эмиграции супруги Мережковские вернулись в Петербург, послереволюционное оживление в журналистике и в газетном деле было необыкновенное. Нарождались новые журналы, толстые и тонкие, старые реформировались и преобразовывались. Вместо закрывшегося «Нового пути» возникли «Вопросы жизни», потом «Весы»; у «Весов» появились соперники в виде «Золотого руна» и других журналов. «Расцвел» литературный альманах. Появились махровые черносотенные издания, мистики, торговавшие всеми формами религиозной безвкусицы, и их «общественно настроенные» подголоски, сооружавшие теории из непонятных слов и выражений («мистический реализм», «мистический пантеизм», «мистический анархизм»). Кроме так называемой мистической литературы на книжном рынке появились и книжки «легкого поведения» — переводные «труды» французских новеллистов и отечественная порнография. Тон стали задавать на этой сцене книги с лающими обложками. Трудно было разобраться в тогдашнем литературно-философском омуте.

Действительно, 1908—1910 гг. в Петербурге (да и в Москве) были временем не столько литературного возрождения, сколько вырождения и «литературной суеты». «Литературный эстетизм переживал тогда момент судороги — революция, неудавшаяся, сказывалась. Оживление немножко сумасшедшее, напря-

---

[37] Там же.
[38] Гиппиус-Мережковская З. Н. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 186.

женно-разнузданное... Частью оно потом выродилось в порнографию» [39],— оценивала ситуацию Гиппиус.

В январском номере журнала «Огонек» за 1910 г. под заглавием «На пороге нового года» были опубликованы довольно любопытные ответы «выдающихся общественных деятелей» на вопрос «Какие благопожелания шлете вы России на 1910 год?» Вот некоторые из этих 163 ответов:

Ф. И. Родичев:

Честного правительства.

Граф С. Ю. Витте:

Чтобы все верноподданные Государя Императора познали за непреложную истину, что государство жить здоровою жизнью на ниве взаимной ненависти не может.

К. К. Черносвитов:

Желаю государству освобождения от провокации во всех ее проявлениях и твердого, неуклонного шествия к гражданской свободе.

В. В. Розанов:

Побольше хлеба и поменьше крови.

З. Н. Гиппиус:

Ад был вымощен добрыми намерениями; вы хотите ад русской жизни вымостить добрыми пожеланиями. Я нахожу это занятие совершенно бесполезным [40].

Больше всех огорчил своим ответом

И. Е. Репин:

...Ужасное ослепление военных судов! Как им не ясно, что они вешают сумасшедших. Преступность растет уже для преступности,

[39] Гиппиус З. Живые лица. Прага, 1925. Вып. 1. С. 92.
[40] Цит. по: РО ГПБ. Ф. 322. Ед. хр. 8. Л. 8—9.

и мы заражаем весь земной шар нашим «истинно русским» разбоем.
...Пора, пора учредить над нами международную опеку... Да, мы к этому фатально стремимся...[41]

В среду 13 января 1910 г. в петербургские книжные магазины поступила в продажу книга Д. С. Мережковского «Больная Россия», составленная из статей, которые печатались Мережковским в газете «Речь» в конце 1908 г. и в 1909 г. К 30 января «Больная Россия», напечатанная в 3000 экземплярах, разошлась уже более чем наполовину — было продано 1600 экз. Интересна была обложка этой книги с «Конем бледным», исполненная Татьяной Николаевной, младшей сестрой З. Гиппиус. Издана книга была издательством «Общественная польза» на бумаге «верже» весьма низкого качества.

Дело в том, что Д. Мережковский и З. Гиппиус стали участниками основанного Н. Бердяевым Религиозно-философского общества (1907—1917 гг.). Сразу после возвращения в Петербург они не замедлили присоединиться к нему и даже вошли в его руководящие органы, однако на неоднократные предложения быть председателем РФО Мережковский отвечал отказом по следующей форме: «Не хочу быть председателем, и это опасно для Общества, так как я „неблагонадежный“ с точки зрения русской полиции»[42].

Членами РФО были люди разной политической ориентации, но основное направление общества определяла творческая интеллигенция: В. Н. Бенешевич, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, З. А. Венгерова, И. В. Гессен, И. М. Гревс, Э. Д. Гримм, В. А. Караулов, Д. М. Койген, Н. А. Котляревский, Н. О. Лосский, А. А. Мейер, В. Д. Набоков, А. Д. Оболенский, М. М. Пришвин, А. С. Пругавин, А. Е. Пресняков, П. Б. Струве, И. М. Трегубов, М. И. Туган-Барановский, В. Г. Чертков, В. Ф. Эрн и другие патриархи русской либеральной мысли.

Однако Мережковские вскоре потеряли интерес

---

[41] Там же. Л. 8.
[42] Там же. Ед. хр. 6. Л. 217.

к обществу, так как, по их мнению, на его собраниях интеллигенция занималась вопросами неонародничества, богоискательства, политическими темами и была против внесения общественной струи в область религии. Общество это не способствовало контактам русской интеллигенции с православной церковью, и духовенство полностью отсутствовало на его заседаниях, объясняя это своими целомудренными принципами и интересами. З. Гиппиус эту позицию духовенства сравнивала с поведением угодника Касьяна. Известно, что св. Николаю отмечается в году два праздника, а Касьяну один раз в три года. Народная легенда по этому поводу рассказывает, что однажды св. Николай и св. Касьян в светлых праздничных ризах торопились к престолу Господню. Впереди шел Касьян. И вот, встречается ему на дороге мужик. Телега у него в грязи завязла. «Помоги!» — кричит мужик Касьяну. А тот в ответ: «Не могу, боюсь запачкать светлые ризы... да и тороплюсь. Опоздаю еще». И прошел мимо. Потом св. Николай идет. «Помоги!» — кричит мужик. Остановился Святой, ухватился за телегу, перепачкался в грязи и дегте, ризы порвал, но вытащил. Увидел Господь грязные ризы св. Николая и чистые св. Касьяна и решил лишить Касьяна ежегодного праздника, а св. Николаю угоднику дал целых два в году.

Есть большая опасность, считали Мережковские, что духовенство пойдет за Касьяном. Если оно устами некоторых священников заявляет, что не для него «земная канитель», то еще большей земною канителью может показаться для священников новое дело — Религиозно-философское общество.

Испытывая потребность связать свои новые религиозные идеи с жизнью и с исторической практикой, Мережковские стали пропагандировать следующую метафизическую схему преодоления общественного кризиса: отнять у русского абсолютизма религиозную санкцию, религиозно «размазать» помазанника-самодержца и этим самым уничтожить последнюю опору самодержавия в народном сознании. Их концепция основывалась главным образом на метафизическом представлении о перспективах человеческой истории. Отвергая революцию «без Христа», они по-

стоянно работали над проектами «справедливого способа» достижения свободы.

После октябрьских событий 1917 г. Мережковские перестали относиться отрицательно к Русской Церкви. Эта перемена в их отношении произошла в то время, когда церковь стала страдающей, а православное духовенство и верующие стали жертвами репрессий и преследований. «Я с ними в моих мыслях,— записывает Гиппиус в своем дневнике.— Я совершаю Евхаристию вместе с ними в моих мыслях. Я знаю, что они сохраняют свою верность, как я сохраняю свою веру» [43].

Они изо всех сил стараются сохранить оптимизм и надежду на милосердность, несмотря на открытость и развязность богохульства, на казни и насилие. Это было начало времени, когда, по остроумному замечанию Андрея Белого, напор и торжество материализма стали упразднять в России не только дух, но и материю. Нечего есть, не во что одеваться. Кругом ничего осязаемого, одни идеи и «новый» фанатизм.

От кривой палки прямой тени не бывает. Подобно извержению вулкана, пароксизм всевластного невежества заливал раскаленной лавой и засыпал серым пеплом целые пласты сознания, утверждая безнравственность и насилие в качестве всеобщей нормы. В обстановке извращенных духовных ориентиров общечеловеческие нормы и идеалы потускнели и стали выходить из употребления.

— Простят ли чистые герои?
Мы их завет не сберегли.
Мы потеряли все святое:
И стыд души и честь земли.
Мы были с ними, были вместе,
Когда надвинулась гроза.
Пришла Невеста. И Невесте
Солдатский штык проткнул глаза.
Мы утопили, с визгом споря,
Ее в чану Дворца, на дне,
В незабываемом позоре
И в наворованном вине...
Рылеев, Трубецкой, Голицын!

[43] Цит. по: Пахмусс Т. Новое религиозное сознание и Человечество Третьего завета//Мережковский Д. Маленькая Тереза. С. 75.

Вы далеко, в стране иной...
Как вспыхнули бы ваши лица
Перед оплеванной Невой!..[44]

Это написано З. Гиппиус 14 декабря 1917 г. Начались годы террора, «перечеркивающие Россию», всю ее культуру. Огромная масса люмпен-пролетариата становилась силой, которая охватывала своей идеологией почти все общество. Идеология босяков крепла, вооружалась, превращалась в военно-коммунистическую идеологию. Вера социал-демократов-богоискателей в «царство божие на земле», в немедленный коммунизм соединялась с поисками нового бога, сильной личности, вождя, человекобога. «Реальная земная религия» богостроителей-большевиков, против идеологии которой З. Гиппиус и ее друзья выступили (малыми силами) еще в 1903 г., обретала свои священные авторитеты, непререкаемые догматы, писание, святых, требовала реальных человеческих жертвоприношений.

В начале января 1918 г. был арестован (по указанию наркома просвещения республики А. В. Луначарского) известный музыкальный деятель и дирижер Зилоти. И. И. Манухин, врач и друг семьи Мережковских (лечивший одно время М. Горького), бросился его выручать, но не тут-то было: «...он с утра мыкался. Напрасно. Искал Луначарского, того самого, который в июльские дни „скрывался" у Ив. Ив. и погано трясся от страха. Но теперь Луначарский отказал Ив. Ив. выпустить старого музыканта на поруки. Пусть, говорит, сначала признает мою власть. А то я его уволил в отставку, он ушел, положим,— но из-за этого хор оперный забастовал. Если же его окончательно у б р а т ь (выделено нами.— *С. С.*), то хор можно подвергнуть репрессиям,— запоют!»[45]

«Европа, взгляни!»[46] — возмущенно восклицает З. Гиппиус, приводя этот и подобные ему многочисленные факты уничтожения — физического и социального — носителей культуры в своем дневнике

---

[44] Г и п п и у с З. Н. Последние стихи. 1914—1918. Пг., 1918. С. 53—54.

[45] РО ГПБ. Ф. 481. Ед. хр. 2. Л. 57(об) — 58.

[46] Там же. Л. 58.

(«Современиая запись. 1914—1919 гг.»). Начииает она этот свой дневник спокойио, хоть и устало, с «предупреждеиия» читателю о том, что фактам оиа будет отдавать бесспориое предпочтеиие, ио только тем, о которых оиа знает иепосредствеиио от очевидцев, избегая «всего, известиого через „третьи руки“» [47]. Заканчивает же свои записи (в 1919 г.) она «во весь голос» главиым открытием: «ДАВНЫМ-ДАВНО КОНЧИЛАСЬ ВСЯКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!» [48]

— Да воскресиет Бог, и да расточатся врази Его! — молилась она беззвучно, но молитвы ее не доходили до Господа Бога. Оии перехватывались ОГПУ.

Друг З. Гиппиус С. П. Каблуков, побывав в пятиицу 19 апреля 1919 г. на митинге, который был устроен Луиачарским иа Чернышевой площади в Петрограде прямо под стеиами своего иаркомата просвещеиия и был «посвящеи» теме «Иителлигенция и Колчак», записывает: «Ои открыто заявил, что если Советской власти придется оставить Петербург, то оиа сумеет сделать так, что иителлигеиции ие придется радоваться ни этому уходу, ни приходу Колчака и ему подобиых. Угрожал кровавой баией...» [49]

Вот еще извлечение из дневиика С. П. Каблукова за 1919 г.:

«...11 апреля в Сергиевом Посаде были разореиы Мощи Сергия Радонежского...

Четверг, 18 апреля.

...А сегодия неожидаиный разговор с Д. С. Мережковским по телефоиу:

Я — звоиял: Говорит Каблуков. И иа отв[ет] „алло“ — это Вы Д. С.?

Он — здравствуйте, С. П. Как ваше здоровье?

Я — Христос Воскрес, Д. С.!

Он — Воистину Воскрес!.. Я чувствую себя отвратительио,— стремлюсь уехать — всё непреодолимые препятствия. Нахожусь в состоянии психоза... Свою библиотеку распродаю — часть, „Петровскую“ и „Леоиардовскую“.

---

[47] Там же. Ед. хр. 1. Л. 2.
[48] Там же. Ед. хр. 2. Л. 164 (об).
[49] Там же. Ф. 322. Ед. хр. 63. Л. 102—102(об).

Я — Неужели Вы так прожились?

Он — (грустно): Да, очень... Не хватает. Говорят, что я получил много — я все проживаю, что получаю. Ничего не остается.

Я — Больно расставаться с книгами?

Он — А, вы, С. П., еще не прочли „14 декабря“? [50]

Я — Прочел. Ваш культ Женственности мне не по плечу... Что значит „Россию спасет Мать“?

Он — Это таинственно, рассказать просто нельзя. Мать — это в связи с Богородицей, но не Она. В Богородице обнаружилось начало Мужское, но есть и Женское. Изида, Великая Матерь богов и др.— это предчувствие...

Вторник, 23 апреля.

Была З. Н. Гиппиус с $6^1/_2$ до 7 пополудни. Выглядит хорошо. Сказала, что Д. В. Фил[ософов] продал свою библиотеку за 21 тыс. р., а Д. С. [Мережковский] — Петровские и Леонард[овские] рукописи — за 10 000 р. ...

О Мак. Горьком: скупает фарфор китайский и порнографические альбомы» [51].

В апреле 1919 г. фунт конины стоил 25 рублей, фунт сахара — 100 рублей, фунт сала — 140 рублей, а бутылка спирта (российская конвертируемая валюта) стоила 2000 рублей. Простейший расчет показывает, что Петровские и Леонардовские рукописи Мережковского были по существу «изъяты» у него в обмен на 400 килограммов конины.

Оказавшись в «советско-большевистской молельне», где насильственно внедрялось новое, тоталитарное, сознание на противоположной новозаветному христианству основе, Мережковские восстали против пролетарского «цезарепапизма» и тут же подверглись гонениям. Стимулом к травле их со стороны тех, кто перешел на «лакейский стиль» поведения, была и зависть к их независимому прошлому, и ненависть к их мужественному противостоянию духовным мароде-

---

[50] «14 декабря» — 3-я часть трилогии Мережковского «Царство Зверя», где он сказал: «Россия не белый лист бумаги,— на ней уже написано: „ЦАРСТВО ЗВЕРЯ“. Страшен царь — Зверь, но, может быть, еще страшнее Зверь — народ». Роман кончается словами: «Россию спасет Мать».

[51] РО ГПБ. Ф. 481. Ед. хр. 63. Лл. 73, 93—96, 104.

рам в настоящем. В смраде новояза (новоязыка) дипломированных лакеев материализма, в хаосе «праздничных действ» циничных и откровенных атеистов-богостроителей они были теми же, какими видели их всю предыдущую жизнь. Став отверженными, они не признали себя побежденными, не приняли свою участь как неизбежность, как крест, который надо нести без ропота, без жалоб, без протеста. Истребители русской духовности не спускали с них глаз и жадно ждали вопля, жалобы, стонов бессилия, но этого им не пришлось увидеть. Самообладание, внутренняя дисциплина, выношенное в течение всей жизни чувство достоинства и чести, спасли их от унижений.

Тогда их пытались купить. Беллетрист Иероним Ясинский пустил в ход изготовленную в Смольном легенду, будто в обмен на «пайки и авансы» супруги Мережковские согласились «написать биографический словарь всех выдающихся революционных деятелей, способствовавших октябрьскому перевороту, и с этой целью им были вручены редкие биографические документы и автобиографические очерки этих самоотверженных работников революции» [52].

Дело в том, что «самоотверженным работникам революции» было явно недостаточно своих пайков и других материальных привилегий номенклатурного снабжения. Они быстро вошли во вкус, мня себя солью земли, желали поскорее войти в историю, привлекая для этих целей «лучшие художественные силы». В страшный для Петрограда февраль 1919 г. Исполком Петросовета объявляет «конкурс на лучший портрет деятелей наших дней (Володарского, Урицкого, Либкнехта, Люксембург, Ленина, Троцкого, Зиновьева, Луначарского и других)» [53]. В состав жюри конкурса входили сами претенденты на место в революционном пантеоне: Зиновьев, Луначарский и другие [54].

Высокая нравственность, развитость ума, честность не позволяли Мережковским принимать участие в подобных «мероприятиях». Они наотрез

---

[52] Ясинский И. И. Роман моей жизни: Книга воспоминаний. М.; Л., 1926. С. 258.

[53] РО ГПБ. Ф. 322. Ед. хр. 63. Л. 29 (об).

[54] Там же.

отказывались от всех предложений подобного рода. И вокруг Мережковских запахло серой!

Независимая позиция З. Гиппиус, Д. Мережковского и им подобных дворян-интеллигентов была обстоятельством, которое явилось прямой помехой для диктатуры идеологических босяков. Об этом откровенно и цинично писал А. Луначарский в брошюре «Интеллигенция в ее прошлом, настоящем и будущем», изданной в Москве в 1921 г. Растолковывая читателям, почему нравственная недоношенность и идейная обывательщина, не имеющие «никакой программы», ближе и удобнее для правящего слоя большевиков, нарком просвещения РСФСР писал: «Такого рода человек тем ценнее при данных условиях, чем он безыдейнее. Так и мы: если у спеца какого-нибудь, например инженера, много идей, это хуже, ибо эти идеи мешают использовать в достаточной мере для работы такой элемент. А вот когда у него нет никаких идей, тогда его можно пустить в работу» [55].

Не показывая своего страха перед висящим над их головами «каменным топором» классовой ненависти просветителей «нового средневековья», Мережковские доработали на своей родине до конца, и перед тем как ее покинуть, сотворили свою последнюю молитву-заклинание:

— Она не погибнет,— знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся,— верьте!
Поля ее золотые...— [56]

Выход из «большевицкого» социалистического барака строго контролировался, и если бы не Мережковский, проявивший необыкновенную энергию и один подготовивший бегство в Польшу, они так и погибли бы, все трое — Гиппиус, Мережковский, Философов.

В Варшаве Мережковские остаются недолго, переезжают во Францию, поселяются в своей парижской квартире, всячески стараясь втолковать европейцам,

---

[55] Луначарский А. В. Интеллигенция в ее прошлом, настоящем и будущем. М., 1921. С. 61.

[56] Гиппиус З. Н. Последние стихи. С. 66.

что большевизм — опасность всемирная. Но Европа еще глуха на это ухо. Их никто не слышит.

«6 января, в русский сочельник 1922 г.,— записывает В. Злобин,— почти за 20 лет до смерти З. Н. Гиппиус обрывает свою запись и красным карандашом ставит внизу страницы большой крест. На следующей, через месяц, она пишет огромными буквами: „КОНЕЦ ВСЕМ МОИМ ДНЕВНИКАМ: ОТСЮДА, ОТ ДНЯ, КОТОРОГО НЕ БУДЕТ СТО ЛЕТ,— 2—2—22 — НАЧИНАЕТСЯ МОЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО". Но эта попытка духовного самоубийства — „потушить душу", как она говорит,— не удается. Она слишком полна сил, которые, впрочем, так и не найдут себе применения»...[57]

Господи, иду в неизвестное,
Но пусть оно будет родное.
Пусть мне будет небесное
такое же, как земное.— [58]

В своем утверждении, что духовные силы Гиппиус не нашли себе применения, В. Злобин не совсем прав. Упорная борьба Мережковских против социал-большевизма в России была продолжена во Франции, в Европе. Аналог социал-большевизму они первоначально усмотрели в социализме фашистского типа Б. Муссолини, этатическом, авторитарном, империалистическом. Нарастающее влияние фашистской, а затем и национал-социалистической идеологии они объясняли многими причинами, но истоки усматривали в культе Ленина. Самым дурным деянием Ленина, считали Мережковские, было то, что он изобрел тоталитарные методы, которыми воспользовался фашизм и национал-социализм: один вождь может быть только у одной партии, у которой должна быть только одна идеология. Принципы этой идеологии бесконечно далеки от идей кротости, милосердия, евангельских общечеловеческих норм — «правил по технике безопасности» человеческого общества. «Исповедовать» эту одну идеологию должен один народ. Отсюда с неизбежностью изобретается «новая историческая общность людей», которая тут же

[57] Цит. по: Злобин В. *Тяжелая душа*. С. 118.
[58] Там же. С. 119.

объявляется «передовым отрядом всего человечества», или «высшей расой», имеющей перед собой всегда одну цель. В тоталитарном государстве нет общества, так как человеческое общество основано на свободной близости или свободном антагонизме людей, а в государстве без свободы немыслимо ни то, ни другое, только ненависть к инакомыслящим, которые, в свою очередь, рассматриваются в лучшем случае как «пережиток», объект срочного перевоспитания. Троцкого, Ленина, Сталина, Муссолини, Гитлера Мережковские не принимали по самой природе своего свободолюбивого, аристократического, независимого мышления. Ко всем пятерым они относились без всякого уважения как к диктаторам, которые пытались установить режим, отрицающий ценности традиционного общества, и в первую очередь те, что связаны с христианством, его философией и нравственностью. И, наконец, они высказывали такие парадоксальные на первый взгляд суждения, что современники отказывались их принимать. Суть этих мыслей состояла в том, что социал-большевизм породил фашистскую реакцию, которая, в свою очередь, должна его же признать своим учителем.

Муссолини Гиппиус называла «медведем», который все время «орет свое», а Гитлера просто «идиотом» [59]. Но она понимала, что одними ярлыками дела не объяснить. Нужно было изучить это явление, описать и дать сравнительный анализ. (В одном из писем из Италии 25 апреля 1936 г. она пишет В. Злобину: «Здесь много очень интересного. Видимся с Вяч. Ивановым, с иезуитами, с фашистами и с „козлицами“. Последнее наименее интересно» [60].) Для сравнения брался «базисный» социализм сталинского типа, сведения о котором супруги Мережковские черпали, по-видимому, и от В. Бажанова, бывшего секретаря Сталина, бежавшего на Запад 1 января 1928 г. и проживавшего в Париже. (Его «имя довольно часто упоминается в письмах Мережковского»,— сообщает хранительница архива Мережковских Т. Пахмусс [61].)

---

[59] См.: Мережковский Д. Маленькая Тереза. С. 196. (прим.).
[60] Цит. по: Там же. С. 189.
[61] Там же. С. 200.

Гиппиус и Мережковский работали над этой проблемой (феноменом полного обожествления государственной власти, утверждающей себя как единственную и безусловную ценность) денно и нощно в течение многих лет с такой же методичностью и настойчивостью, как и над своей религиозной программой «размазания» (развенчания) самодержавия в дореволюционной России. Но печатать и издавать свои мысли на этот счет им было очень нелегко. Французские социалисты были почти поголовно увлечены сочувствием к «передовому социалистическому опыту» в стране, откуда беспрерывно доносилось пение «Интернационала».

Мережковские испытывали порой часы такого одиночества, что становилось жутко; иногда казалось, что или они немы, или все глухи. Если они не впали в отчаяние, если сохраняли надежду, то только благодаря вере в духовное возрождение России.

Общая формула отношения Мережковских к России настоящей, прошлой и будущей, по собственному их заявлению, выглядела так: «Пока из русских уст не вырвется признание во всех ошибках прошлого, пока из русских недр не исторгнется крик боли и раскаяния на несправедливость настоящего, отзвук которого наполнит гармоническим братством и соединит миллионы, увидеть спасение можно только в Христе как единственно твердом, непоколебимом и не временном эталоне идеалов общественности. Только Христом можно преодолеть антиномичность судеб мира, человечества и личности» [62].

Старая пословица гласит: «Господни мельницы мелют медленно, но верно». В стране государственного атеизма господни мельницы мололи особенно медленно, но, как видим, также верно и неуклонно.

---

[62] Мережковский Д. С. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 90.

СОДЕРЖАНИЕ

Научно-публицистическое издание

Дмитрий Мережковский

«БОЛЬНАЯ РОССИЯ»

Избранное

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Редактор *А. И. Кузьмина*
Художественный редактор *С. В. Алексеев*
Обложка художника *В. В. Пожидаева*
Технический редактор *Г. М. Матвеева*
Корректоры *Г. А. Янковская, О. В. Пукелова*

ИБ № 3841

Сдано в набор 13.12.90. Подписано в печать 07.06.91. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура школьная. Печать высокая. Усл. печ. л. 14,28. Усл. кр.-отт. 14,44. Уч.-изд. л. 13,11. Тираж 100 000 экз. Заказ № 724. Цена 10 руб.

Издательство ЛГУ. 199034, Ленинград, Университетская наб., 7/9.

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Государственного комитета СССР по печати. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский пр., 29.

10 руб.

Издательство Ленинградского университета в ближайшее время будет публиковать произведения выдающихся представителей отечественной философии и монографические исследования о деятелях русской культуры. Организовано несколько серий: «Литературное наследие русских мыслителей», «История российской культуры», «Мыслители России».

В рамках этих серий в 1991—1992 гг. выйдут в свет: Н. Я. Данилевский «Россия и Европа», А. Белый «Эмблематика смысла: Философские сочинения», Л. Шестов «Апофеоз беспочвенности» и небольшие монографии о Н. О. Лосском, К. Н. Леонтьеве, В. Ф. Эрне и многих других философах разных направлений, составивших славу российской культуры.



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА